Двадцать четыре часа из жизни женщины (сборник)

Автор:
Стефан Цвейг

Двадцать четыре часа из жизни женщины (сборник)

Стефан Цвейг

Новеллы Стефана Цвейга. Золотая классика европейского психологического реализма начала XX века. Их экранизировали гении европейского и американского кино времен его «золотого века»: Роберт Ланд и Макс Офюльс, Этьен Перье и Роберт Сьодмак. На них выросли поколения европейских и российских читателей. Каждая из этих новелл и сейчас восхищает, повергает в ярость, заставляет спорить с автором и его героями, любить их и ненавидеть, осуждать и прощать. Секрет подобного «нестарения» новелл Цвейга прост – автор неизменно писал о страсти. О неконтролируемой, исступленной, болезненной любви, не важно, к мужчине или к женщине, к родителям или к книгам, к деньгам или к игре, к приключениям или к власти над другими. Есть чувства и желания, которые не меняются никогда. И Цвейг, как никто, умел описать их…

Стефан Цвейг

Двадцать четыре часа из жизни женщины

Амок

В марте 1912 года в Неаполе, при разгрузке в порту большого океанского парохода, произошел своеобразный несчастный случай, по поводу которого в газетах появились подробные, но весьма фантастические сообщения. Хотя я сам был пассажиром «Океании», но так же, как и другие, не мог быть свидетелем этого необыкновенного происшествия, так как оно случилось в ночное время, при погрузке угля, и мы, чтобы спастись от шума, съехали все на берег и там проводили время в разных кафе и театрах. Как бы то ни было, я лично думаю, что некоторые предположения, которых я тогда публично не высказывал, содержат в себе истинное объяснение той ужасной сцены, а отдаленность лет позволяет мне использовать доверие, оказанное мне во время одного разговора, непосредственно предшествовавшего странному эпизоду.

Когда я хотел заказать в пароходной конторе в Калькутте место для возвращения в Европу на борту «Океании», клерк только с сожалением пожал плечами. Он не знал, возможно ли еще обеспечить мне каюту, так как теперь, перед самым наступлением сезона дождей, все места бывают распроданы уже в Австралии, и он должен сначала дождаться телеграммы из Сингапура.

Но на следующий день он сообщил мне приятную новость, что может предложить мне одну каюту, правда, не особенно комфортабельную, под палубой и в средней части парохода. Я с нетерпением стремился домой, поэтому не стал медлить и просил закрепить место за мной.

Клерк правильно уведомил меня. Пароход был переполнен, а каюта плоха – тесный четырехугольный закоулок недалеко от паровой машины, освещенный только тусклым глазом иллюминатора. В душном, застоявшемся воздухе пахло маслом и плесенью; ни на миг нельзя было отойти от электрического вентилятора, который, как обезумевшая стальная летучая мышь, вертелся и визжал над головой. Внизу машина кряхтела и стонала, как грузчик, без конца взбирающийся с углем по одной и той же лестнице; наверху непрерывно шаркали шаги гуляющих на палубе. Поэтому, сунув чемодан в какую-то затхлую серую дыру, я поспешил назад на палубу и, поднимаясь из глубины, вдохнул полной грудью мягкий, сладостный воздух, доносившийся к нам с берега.

Но и на палубе для прогулок царили сутолока и теснота: тут было полно людей, которые с нервностью, вызванной вынужденным бездействием, без умолку болтали и ходили взад и вперед. Щебетание и трескотня женщин, безостановочное кружение по тесным проходам палубы, возбужденная болтовня

пассажиров, скоплявшихся перед стульями для отдыха, – все это почему-то причиняло мне боль. Я видел новый мир, впитывал сливающиеся, мелькающие с бешеной быстротой картины. Теперь я хотел подумать, привести в порядок свои впечатления, воспроизвести в памяти то, что воспринял глаз, но здесь, на этом тесном бульваре, не было ни минуты покоя. Строчки в книге разбегались от мелькающих теней проходящих мимо людей. Невозможно было оставаться наедине с собой на этой залитой солнцем и полной движения пароходной улице.

Я три дня боролся с этим чувством и присматривался к людям и к морю, но море было всегда одним и тем же, пустынным и синим, и только на закате оно вдруг загоралось всеми красками радуги; а людей я уже через трое суток знал наизусть. Все лица были мне знакомы до неприятности; резкий смех женщин больше не раздражал меня, и не сердили вечные споры двух голландских офицеров, моих соседей. Мне оставалось только бегство, но в каюте было жарко и душно, а в салоне английские мисс беспрерывно упражнялись на рояле, выбирая для этого самые затасканные вальсы. Кончилось тем, что я решительно изменил порядок дня и нырял в каюту сразу после обеда, предварительно оглушив себя парой стаканов пива; это давало мне возможность проспать ужин и вечерние танцы.

Я проснулся, когда в моем маленьком гробу было уже совсем темно и тихо. Вентилятор я выключил, и воздух полз по вискам, жирный и влажный. Чувства были притуплены, и мне нужно было несколько минут, чтобы сообразить, где я и который может быть час. Очевидно, было уже за полночь, потому что я не слышал ни музыки, ни неустанного шарканья шагов. Только машина, дышащее сердце Левиафана, кряхтя, толкала потрескивающее тело корабля вперед, в необозримое.

Ощупью выбрался я на палубу. Она была пуста. И когда я поднял взор над дымящейся башней трубы и призрачно мерцающими тросами, мои глаза озарил вдруг магический свет. Небо сияло. Оно казалось темным рядом с белизной пронизывавших его звезд, но все-таки оно сияло; казалось, что бархатный полог застилает какую-то светящуюся поверхность, а звезды – только отверстия и прорези, через которые просвечивает этот неописуемый блеск. Никогда не видел я небо таким, как в ту ночь, таким сияющим, таким холодным, как сталь, и в то же время искрящимся, пенящимся, залитым светом, излучаемым луной и звездами, но горящим как будто в какой-то таинственной глубине. Белым лаком блестели в лунном свете все очертания парохода, резко выделяясь на темном бархатном фоне неба; канаты, реи, все контуры растворились в этом струящемся

блеске. Словно в пустоте висели огни на мачтах, а над ними круглый глаз наблюдательной корзинки – земные желтые звезды среди сверкающих небесных.

Над самой головой стояло таинственное созвездие Южный Крест, прибитый мерцающими бриллиантовыми гвоздями к Неведомому; казалось, что он колыхался, тогда как движение создавал только ход корабля, который, слегка дрожа и дыша полной грудью, то поднимаясь, то опускаясь, гигантским поплавком подвигался вперед по темным волнам. Я стоял и смотрел вверх. Я чувствовал себя, как в ванне, где сверху падает теплая вода, только это был свет, белый и теплый, изливавшийся мне на руки, на плечи, нежно струившийся вокруг головы и, казалось, проникавший внутрь, потому что все смутное в моей душе вдруг прояснилось. Я дышал свободно и чисто и с восторгом ощущал на губах, как прозрачный напиток, мягкий, шипучий, опьяняющий воздух, напоенный дыханием плодов и ароматом далеких островов. Теперь, теперь впервые с тех пор, как я поднялся по трапу, меня охватила священная радость мечтания и другая, более чувственная, заставлявшая меня, словно женщину, отдавать свое тело окружающей неге. Я хотел лечь и устремить взор вверх на белые иероглифы. Но палубные кресла были все убраны, и нигде на всей пустынной палубе для прогулок я не видел удобного местечка, где можно было бы отдохнуть и помечтать.

Я начал пробираться ощупью вперед, подвигаясь к передней части парохода, совершенно ослепленный светом, все сильнее изливавшимся на меня со всех сторон. Мне было почти больно от этого резко белого звездного света, мне хотелось укрыться куда-нибудь в тень, растянуться на циновке, не чувствовать блеска на себе, а только над собой и отражения его от вещей – как смотрят на внешний мир из затемненной комнаты. Спотыкаясь о канаты и обходя железные лебедки, я добрался наконец до бака и стал смотреть, как форштевень рассекает мрак и расплавленный лунный свет вскипает пеной с обеих сторон лезвия. Неустанно поднимался и опускался плуг в черную жидкую почву, и я чувствовал всю муку побежденной стихии, всю радость земной мощи в этой искристой игре. И в созерцании я утратил чувство времени. Не знаю, час ли я так простоял или несколько минут; качание чудовищной колыбели корабля унесло меня из пределов времени. Я чувствовал лишь, что мной овладевает усталость, похожая на сладострастие. Я хотел спать, грезить, но только не уходить от этих чар, не спускаться в мой гроб. Бессознательно я нащупал ногой бухту каната. Я сел, закрыл глаза, но в них все-таки проникал струившийся отовсюду серебристый отсвет. Под собой я чувствовал тихое журчание воды, вверху – неслышный звон белого потока Вселенной. И мало-помалу это журчание

наполнило мою кровь, я больше не сознавал самого себя, не отличал, мое ли это дыхание, или биение далекого сердца корабля; я растекался, сливался в этом неугомонном журчании с полуночным миром.

Тихий сухой кашель возле меня заставил меня вздрогнуть. Я сразу очнулся от своего опьянения. Глаза, ослепленные белым блеском, проникавшим даже сквозь закрытые веки, с трудом открылись, – как раз против меня, в тени борта, сверкало что-то похожее на отблеск от очков; потом там вспыхнула большая круглая искра – несомненно, огонек трубки. Очевидно, сидя и любуясь пеной у носа корабля, я не заметил этого соседа, неподвижно сидевшего здесь все это время. Невольно, не придя еще в себя, я произнес по-немецки:

– Простите!

– О, пожалуйста… – по-немецки же ответил голос из темноты.

Не могу передать, как странно и жутко было сидеть безмолвно во мраке возле человека, которого не было видно. Я чувствовал, что этот человек смотрит на меня так же напряженно, как и я на него; струящийся и мерцающий белый свет над нами был так силен, что каждый из нас видел только контур другого в тени. Но мне казалось, что я слышу, как дышит этот человек и как он посасывает свою трубку.

Молчание стало невыносимым. Охотнее всего я ушел бы, но это казалось мне слишком грубым и внезапным. В смущении я вынул папиросу. Вспыхнула спичка, и огонек ее секунду дрожал в нашем тесном углу. За стеклами очков я увидел чужое лицо, которого ни разу не замечал на борту – ни за обедом, ни во время прогулки; и не знаю, было ли больно моим глазам от внезапной вспышки, или то была галлюцинация, но это лицо показалось мне мрачным, искаженным ужасом, призрачным. Однако, прежде чем я мог отчетливо разглядеть его, темнота поглотила опять освещенные на миг черты; я видел лишь очертание фигуры, темной на темном фоне, и минутами круглое огненное кольцо трубки среди пустого пространства. Никто из нас не говорил, и это молчание угнетало, как душный тропический воздух.

Наконец я не выдержал. Вскочив на ноги, я вежливо сказал:

– Спокойной ночи.

– Спокойной ночи, – ответил из мрака хриплый, жесткий, словно заржавленный голос.

Я, спотыкаясь, побрел мимо такелажа и стоек. Вдруг позади раздались шаги, торопливые и нетвердые. Это был мой бывший сосед. Невольно я остановился. Он тоже остановился в нескольких шагах от меня, и я сквозь темноту ощутил какую-то робость и удрученность в его походке.

– Простите, – поспешно заговорил он, – если я обращусь к вам с просьбой. Я… я… – он запнулся и от смущения не мог сразу продолжать, – я… у меня есть личные… чисто личные причины искать уединения… у меня траур… я избегаю общества пассажиров… Вас я не имею в виду… нет, нет… Я хотел только попросить вас… вы меня очень обязали бы, если бы никому на борту не говорили о том, что видели меня здесь… На это есть… так сказать, личные причины, мешающие мне быть в настоящее время на людях… да… так вот… мне было бы чрезвычайно неприятно, если бы вы упомянули о том, что кто-то здесь ночью… что я…

Слова опять застряли у него в горле. Я поспешил вывести его из замешательства, тотчас же обещав ему исполнить его просьбу. Мы пожали друг другу руки. Потом я вернулся в свою каюту и уснул глухим, чрезвычайно тревожным сном, полным причудливых видений.

Я сдержал обещание и никому не рассказал о странной встрече, хотя искушение было велико. Во время морских путешествий всякая мелочь превращается в событие, будь то парус на горизонте, взметнувшийся над волной дельфин, замеченный новый флирт или случайная шутка. Кроме того, меня мучило желание узнать что-нибудь об этом необыкновенном пассажире. Я просмотрел судовые списки в поисках его имени, присматривался к людям, стараясь отгадать, не имеют ли они отношения к нему; целый день я был во власти нервного нетерпения и ждал вечера, когда мог бы снова встретиться с незнакомцем. Загадочные психологические явления неодолимо притягивают меня; они волнуют меня до безумия, и я не могу успокоиться, пока мне не удастся разгадать скрытую в них тайну. Люди со странностями могут зажечь во мне жажду узнать их, которая немногим меньше жажды обладания женщиной.

День казался мне длинным и пустым. Я рано лег в постель, я знал, что в полночь проснусь, что какая-то сила меня разбудит.

И действительно, я проснулся в тот же час, как и вчера. На покрытом фосфором циферблате часов обе стрелки перекрывали друг друга, в виде светящейся черты. Я поспешно поднялся из душной каюты в еще более душную ночь.

Звезды сверкали, как вчера, и обливали рассеянным светом дрожавший пароход; в вышине горел Южный Крест. Все было как вчера – в тропиках дни и ночи еще более похожи на близнецов, чем в наших широтах, – только во мне не было вчерашнего нежного, баюкающего, мечтательного опьянения. Что-то влекло меня, смущало, и я знал, куда меня влекло: туда, к черным лебедкам на носу; я хотел знать, не сидит ли там тот, неподвижный и таинственный. Сверху раздался удар корабельного колокола. Меня словно что-то толкнуло. Шаг за шагом я подвигался вперед, уступая какой-то притягательной силе. Не успел я еще добраться до места, как впереди что-то сверкнуло, точно красный глаз, – его трубка. Значит, он сидит там.

Я невольно отступил на шаг и остановился. В следующий миг я ушел бы назад, но что-то зашевелилось в темноте, кто-то встал, сделал два шага, и вдруг я услышал прямо перед собой его голос, вежливый и тихий.

– Простите, – сказал он, – вы, очевидно, хотите пройти на ваше место, и мне показалось, что вы решили уйти, когда увидели меня. Прошу вас, садитесь, а я сейчас уйду.

Я, со своей стороны, поспешил ответить, что прошу его остаться и что я отошел назад, чтобы ему не помешать.

– Мне вы не мешаете, – с какой-то горечью сказал он, – напротив, я рад не быть некоторое время один. Уже десять дней как я не сказал ни слова… собственно, даже несколько лет… и мне тяжело, я задыхаюсь, верно, оттого, что должен все глотать молча… я больше не могу сидеть в каюте, в этом… в этом гробу… Я больше не могу… и людей я тоже не переношу, потому что они целый день смеются… Я не могу это выносить теперь… я слышу это в своей каюте и затыкаю себе уши… правда, они ведь не знают, что… они и понятия не имеют… а потом, какое дело до этого чужим…

Он снова запнулся и вдруг неожиданно и поспешно сказал:

– Но я не хочу стеснять вас… простите мою болтливость.

Он поклонился и хотел уйти. Но я настойчиво удерживал его:

– Вы нисколько не стесняете меня. Я тоже рад обменяться здесь, в тиши, парой слов… Не хотите ли папиросу?

Он взял. Я зажег спичку. Снова в колеблющемся свете появилось его лицо, оторвавшееся от черного фона; на этот раз оно было прямо повернуто ко мне. Глаза из-за очков впились в мое лицо, жадно и с какой-то безумной силой. Меня охватил трепет. Я чувствовал, что этот человек хочет говорить, что он должен говорить. И я знал, что я должен молчать, чтобы облегчить ему это.

Мы снова сели. У него был второй палубный стул, который он предложил мне. Мы курили, и по тому, как беспокойно прыгал в темноте огонек его папиросы, я видел, что его рука дрожала. Но я молчал, молчал и он. Потом вдруг его голос тихо спросил:

– Вы очень устали?

– Нет, нисколько.

Голос во мраке снова на минуту замер.

– Мне хотелось спросить вас кое о чем… то есть я хотел бы вам кое-что сказать. Я знаю, я прекрасно знаю, как нелепо обращаться к первому встречному, однако… я… я нахожусь в ужасном психическом состоянии… я дошел до предела, когда мне во что бы то ни стало нужно с кем-нибудь поговорить… не то я погибну… Вы поймете меня, когда я… да, когда я вам расскажу… Я знаю, что вы не сможете помочь мне… но я прямо болен от этого молчания… а больной всегда смешон в глазах других…

Я прервал его и просил не терзаться напрасно и, не стесняясь, рассказать мне все… конечно, я не мог ему ничего обещать, но на всяком человеке лежит долг предложить свою помощь. Когда мы видим ближнего в беде, то естественным

образом рождается долг помочь.

– Долг… предложить свою помощь… долг сделать попытку… так и вы, значит, думаете, что на нас лежит долг… долг… предложить свою помощь…

Трижды повторил он эту фразу. Мне стало жутко от этой тупой, упорной манеры повторять слова. Не сумасшедший ли это человек? Не пьян ли он?

И, словно угадывая мою мысль, он изменившимся голосом произнес:

– Вы, может быть, принимаете меня за безумного или за пьяного. Нет, этого нет – пока еще нет. Только сказанное вами слово странно поразило меня… поразило потому, что это как раз то, что меня сейчас мучит: лежит ли на нас долг… долг…

Он снова начал спотыкаться. Потом он замолк и начал с новым усилием:

– Дело в том, что я врач. В нашей практике часто бывают такие случаи, такие роковые… да, я бы сказал, предельные случаи, когда не знаешь, лежит ли на тебе долг… долг ведь не один – перед ближним, есть еще долг перед самим собой, и перед государством, и перед наукой… Нужно помогать, конечно, для этого мы и существуем… но такие правила хороши только в теории… До каких пределов нужно помогать?.. Вот вы чужой человек, и я для вас чужой, и я прошу вас молчать о том, что вы меня видели… хорошо, вы молчите, исполняете этот долг… Я прошу вас разговаривать со мной, потому что я прямо умираю от своего молчания… Вы готовы слушать меня… хорошо… Но это ведь легко… а что, если бы я попросил вас схватить меня и бросить за борт… тут уж кончается любезность, готовность помогать. Где-то она должна кончаться… там, где начинается наша собственная жизнь, наша собственная ответственность… где-то это должно кончаться… где-то должен прекращаться этот долг… или, может быть, как раз у врача он не должен кончаться? Неужели врач должен быть каким-то искупителем, каким-то всесветным помощником только потому, что у него есть диплом, написанный латинскими буквами; неужели он действительно должен отбросить всякую личную жизнь и подлить себе воды в кровь, когда какая-нибудь… когда какой-нибудь пациент является и требует от него благородства, готовности помочь и доброты? Да, где-нибудь кончается долг… там, где человек больше не может, именно там…

Он снова приостановился и затем продолжал:

– Простите, я говорю с таким возбуждением, но я не пьян… пока еще не пьян… впрочем, и это со мной теперь часто бывает, я спокойно признаюсь в этом вам, в этом дьявольском одиночестве… Подумайте: я семь лет прожил почти исключительно среди туземцев и животных… тут можно отучиться от спокойной речи. Потом, как начнешь говорить, так всего сразу не перескажешь… Но, подождите… да, я уже знаю… я хотел вас спросить, хотел представить вам один случай… лежит ли на нас долг помочь… так, с ангельской чистотой помочь… Впрочем, я боюсь, что это будет длинная история. Вы в самом деле не устали?

– Да нет же, нисколько.

– Я… я очень признателен вам… не хотите ли?

Он пошарил где-то за собой в темноте. Звякнули одна о другую две, три, несколько бутылок, которые он поставил возле себя. Он предложил мне стакан виски, к которому я едва прикоснулся, в то время как он разом опрокинул свой.

На миг воцарилось молчание. Вдруг ударил колокол: половина первого.

– Итак… я хотел рассказать вам один случай. Предположите, что врач в одном… в маленьком городке… или, вернее, в деревне… врач, который… врач, который…

Он снова запнулся. Потом вдруг, вместе с креслом, рванулся ко мне.

– Так ничего не выйдет. Я должен рассказать вам все прямо, с самого начала, а то вы не поймете… Это нельзя изложить в виде примера, в виде теоретической возможности… я должен рассказать вам свою историю. Тут не должно быть ни стыда, ни игры в прятки… передо мной ведь тоже люди раздеваются донага и показывают мне свои язвы и выделения… когда хочешь, чтобы тебе помогли, то нечего вилять и стараться что-нибудь утаить… Итак, я не стану рассказывать вам про случай с неким воображаемым врачом… я раздеваюсь перед вами догола и говорю: я… стыдиться я разучился в этом собачьем одиночестве, в этой проклятой стране, которая выедает душу у человека и высасывает у него мозг из костей.

Вероятно, я сделал какое-нибудь движение, так как он вдруг остановился.

– Ах, вы протестуете… понимаю: вы в восторге от Индии, от храмов и пальм, от всей романтики двухмесячной поездки. Да, тропики полны очарования, если видеть их, только катаясь по железной дороге, в автомобиле, на рикше: я сам это чувствовал, когда семь лет назад впервые приехал сюда. О чем я только не мечтал: я хотел овладеть языками и читать священные книги в подлиннике, хотел изучать болезни, работать для науки, ознакомиться с психикой туземцев; я был, как говорят на европейском жаргоне, миссионером человечности и цивилизации. Всем, кто сюда приезжает, грезится тот же сон. Но под невидимыми стеклами этой оранжереи человек теряет силы, лихорадка – от нее ведь не уйти, сколько ни есть хинина, – подтачивает нервы, становишься вялым и ленивым, рыхлым, как медуза. Европеец невольно отстает от своего естественного образа жизни, если попадает из больших городов на этакую проклятую болотную станцию. Рано или поздно пристукнет всякого: одни запивают, другие курят опиум, третьи дерутся и звереют, – так или иначе, но тупеют все. Они стремятся в Европу, мечтают о том, чтобы когда-нибудь опять пройти по улице, посидеть в светлой комнате среди белых людей, год за годом мечтают об этом, а когда настает срок, когда можно было бы получить отпуск, то им уже лень двинуться с места. Они знают, что всеми забыты, сознают, что они чужие, как морские ракушки, на которые всякий наступает ногой. И они остаются, завязшие в своих болотах, и погибают в этих жарких, сырых лесах. Пусть будет проклят тот день, когда я продал себя в эту вонючую дыру…

Между прочим, это было не так уж вполне добровольно. Я учился в Германии, сделался врачом, даже хорошим врачом, и работал при лейпцигской клинике. В одном из медицинских журналов того времени много писали по поводу нового впрыскивания, которое я первый ввел в практику. Тут подоспела история с одной бабенкой, которую я впервые увидел в больнице: она своего любовника довела до бешенства, и он ранил ее из револьвера; вскоре и я был таким же бешеным. У нее была манера держаться высокомерно и холодно – это и выводило меня из себя: властные и дерзкие женщины всегда умели прибрать меня к рукам, а эта так скрутила меня, что я и совсем потерял голову. Я делал все, что она хотела, я, – да что там, отчего мне не сказать всего, ведь прошло уже восемь лет, – я из-за нее растратил госпитальные деньги, и, когда это выплыло наружу, скандал был ужасный. Правда, моему дяде удалось прикрыть мое преступление, но карьера погибла. В это время я услышал, что голландское правительство вербует врачей для работы в колонии и предлагает подъемные. Я сразу сообразил, что это, верно, отчаянное дело, раз за него предлагают деньги вперед; я знал, что могильные кресты на этих пораженных лихорадкой плантациях растут втрое быстрее, чем у нас; но когда человек молод, ему всегда

кажется, что лихорадка и смерть постигнут кого угодно, но только не его. Ну что же, выбора у меня не было, я поехал в Роттердам, подписал контракт на десять лет и получил внушительную пачку банкнот. Половину я отослал домой, а другую выудила у меня в портовом квартале одна особа, которая обобрала меня дочиста только потому, что была удивительно похожа на ту проклятую кошку. Без денег, без часов, без иллюзий уезжал я из Европы и не испытывал особой грусти, когда наш пароход выбирался из гавани. А потом я сидел на палубе, как вы сидите, как сидели все, и видел Южный Крест и пальмы, сердце таяло у меня в груди: ах, леса, одиночество, тишина! – мечтал я. Ну, одиночества-то я получил довольно. Меня назначили не в Батавию, или Сурабайю, в город, где есть люди, и клубы, и гольф, и книги, и газеты, а – впрочем, название не играет никакой роли – на одну из районных станций, в двух днях езды от ближайшего города. Два-три скучных иссохших чиновника, пара полубелых туземцев – это было все мое общество, а кроме него, вокруг только лес, плантации, пустыни и болота.

Вначале еще было сносно. Я занимался всякой всячиной; раз, когда вице-резидент упал во время инспекционной поездки из автомобиля и сломал себе ногу, я без всяких помощников сделал ему операцию, о которой много говорили. Я собирал яды и оружие туземцев, занимался множеством мелочей, лишь бы не опуститься. Но все это продолжалось только до тех пор, пока во мне действовала привезенная из Европы сила; потом я завял. Мои европейцы наскучили мне, я прервал общение с ними, пил и отдавался думам. Мне оставалось ведь всего два года, потом я освобождался с пенсией, мог вернуться в Европу, начать жизнь сначала. Я забросил все занятия и только ждал, лежал в своей берлоге и ждал. И так я торчал бы там и по сей день, если бы не она… если бы не случилось все это…

Голос во мраке умолк. И трубка больше не тлела. Стало так тихо, что я сразу услышал опять звук воды, пенившейся под носом парохода, и отдаленное глухое биение сердца машины. Мне хотелось закурить папиросу, но я боялся резкой вспышки огня и отсвета на его лицо. Он все молчал. Я не знал, кончил ли он, дремлет ли или спит, таким мертвым казалось мне его молчание.

Вдруг прозвучал отрывистый сильный удар колокола: час. Он встрепенулся; и я снова услышал звон стакана. Очевидно, его рука искала виски. Послышался тихий звук глотка, затем вдруг его голос раздался снова, но на этот раз более напряженный и страстный.

– Да, так вот… подождите… да, так вот, это было так. Сижу я там, в своей проклятой дыре, сижу неподвижно, как паук в паутине, уже целые месяцы. Это было как раз после дождей. Неделя за неделей барабанила вода по крыше, ни одна душа не заглядывала ко мне, ни один европеец; изо дня в день сидел я в доме со своими желтыми женщинами и своим добрым виски. Я был тогда как раз совсем «down»[1 - Упавший духом (англ.).], совсем болен Европой: когда я читал в каком-нибудь романе про светлые улицы и белых женщин, у меня начинали дрожать пальцы, я не могу передать вам это состояние, это особого рода тропическая болезнь, яростная, лихорадочная и в то же время бессильная тоска по родине. Так я сидел тогда, кажется, с географическим атласом в руках и мечтах о путешествиях. Вдруг раздался возбужденный стук в дверь, и я увидел боя и одну из женщин. Лица обоих выражают крайнее изумление. Они докладывают с важным видом: пришла дама, какая-то леди, белая женщина.

Я вскакиваю. Я не слышал шума экипажа или автомобиля. Белая женщина здесь, в этой глуши?

Я готов уже выбежать на лестницу, но делаю над собой усилие и останавливаюсь. Смотрю мельком в зеркало, наскоро привожу себя немного в порядок. Я нервничаю, чувствую беспокойство, меня мучит неприятное предчувствие, так как я не знаю никого на свете, кто из дружбы пришел бы ко мне. Наконец я иду вниз.

В передней ждет дама и поспешно направляется мне навстречу. Густая автомобильная вуаль закрывает ее лицо. Я хочу поздороваться с ней, но она сама начинает говорить.

– Добрый день, доктор, – говорит она по-английски. Ее речь кажется мне слишком плавной и как бы заранее заученной. – Простите, что я застаю вас врасплох. Но мы были как раз на станции, наш автомобиль остался там (почему она не подъехала к дому? – молнией блеснула у меня в голове мысль) – и вот я вспомнила, что вы живете здесь. Я так много слышала о вас, с вице-резидентом вы проделали прямо чудо, его нога в безукоризненном состоянии, и он по-прежнему играет в гольф. О да, у нас там все говорят еще об этом, и мы охотно отдали бы нашего ворчуна военного доктора и обоих остальных в придачу, если бы вы приехали к нам. Вообще, почему вас никогда не видно? Вы живете точно йог…

И так она тараторит без конца, торопится и не дает мне вставить ни слова. Что-то нервное и неспокойное чувствуется в этой скользкой болтовне, и я сам заражаюсь беспокойством своей гостьи. Почему она так много говорит, задаю я себе вопрос, почему не называет себя, почему не снимает вуали? Лихорадка у нее, что ли? Больна она? Сумасшедшая? Я все больше волнуюсь, чувствую себя в смешном положении, стоя так перед ней и позволяя изливать на себя эту бесконечную болтовню. Наконец она на миг останавливается, и я могу пригласить ее наверх. Она делает бою знак остаться и первая поднимается по лестнице.

– Как у вас мило, – говорит она, осматривая мою комнату. – О, какая прелесть: книги! Я хотела бы их все прочесть! – Она подходит к полке и рассматривает названия книг. В первый раз, с тех пор как я вышел к ней, она на минуту умолкает.

– Разрешите мне предложить вам чаю? – спросил я.

Она, не оборачиваясь, продолжает рассматривать книжные корешки.

– Нет, спасибо, доктор… нам нужно сейчас же уходить… у меня мало времени… это была ведь просто маленькая прогулка… Ах, у вас есть и Флобер, я его так люблю… чудесная, удивительная вещь его «L'Education sentimentale»[2 - «Воспитание чувств» (фр.).]… я вижу, вы читаете и по-французски… Чего только вы не знаете!.. Да, немцы, они проходят все в школе… Право, удивительно – знать столько языков!.. Вице-резидент бредит вами и говорит всегда, что вы единственный хирург, к кому он пошел бы под нож… наш добряк доктор годится только для игры в бридж… кстати, знаете ли (она все еще говорит не оборачиваясь) – сегодня мне самой пришло в голову, что хорошо было бы разок посоветоваться с вами… и так как мы как раз проезжали мимо, то я подумала… ну вы сегодня, может быть, заняты… я лучше заеду в другой раз.

«Наконец-то ты раскрыла карты!» – сейчас же подумал я. Но я не дал ей ничего заметить и заверил ее, что почту за честь быть полезным ей теперь или когда ей угодно.

– У меня ничего серьезного, – сказала она, полуобернувшись ко мне и в то же время перелистывая книгу, снятую ею с полки, – ничего серьезного, пустяки… женские неприятности, головокружение, обмороки. Сегодня утром во время

езды, на повороте, мне вдруг стало дурно, raide morte[3 - Здесь: лишилась чувств (фр.).]… бой должен был посадить меня и принести воды… ну, может быть, шофер слишком быстро ехал… как вы думаете, доктор?

– Не могу так об этом судить. У вас часто такие обмороки?

– Нет… то есть да… в последнее время… именно в самое последнее время… да… обмороки и тошнота.

Она снова стоит уже перед книжным шкафом, ставит книгу на место, вынимает другую и начинает перелистывать. Удивительно, почему это она все перелистывает… так нервно, почему не поднимает взора из-под вуали? Я намеренно ничего не говорю. Мне хочется заставить ее ждать. Наконец она снова начинает в своей развязной и суетливой манере:

– Не правда ли, доктор, в этом нет ничего серьезного? Это не какая-нибудь опасная тропическая болезнь…

– Я должен сначала посмотреть, нет ли у вас жара. Позвольте ваш пульс…

Я направляюсь к ней, но она уклоняется легким движением.

– Нет, нет, у меня нет жара… безусловно, безусловно нет… я измеряла температуру каждый день, с тех пор… с тех пор, как начались эти обмороки. Жара нет, всегда ровно тридцать шесть и четыре. И желудок у меня в порядке.

Минуту я медлю. Во мне все растет недоверие: я чувствую, что эта женщина чего-то от меня хочет, в такую глушь ведь не приезжают, чтобы поговорить о Флобере. Я заставляю ее ждать минуту, другую.

– Простите, – говорю я затем, – разрешите мне задать вам совершенно откровенно несколько вопросов?

– Конечно, вы ведь врач! – отвечает она, но тут же поворачивается ко мне спиной и начинает возиться с книгами.

– У вас есть дети?

– Да, сын.

– А было ли у вас… было ли у вас раньше… я хочу сказать – тогда… было ли у вас подобное состояние?

– Да.

Ее голос стал теперь совсем другим – ясным, определенным, без всякой трескучести и нервности.

– А возможно ли, чтобы вы… простите мой вопрос… возможно ли, чтобы вы находились теперь в таком же состоянии?

– Да.

Резко и остро, как нож, бросила она это слово. Ничто не дрогнуло в ее лице.

– Будет лучше всего, сударыня, если я осмотрю вас… вы разрешите попросить вас… перейти в другую комнату?

Тут она вдруг оборачивается. Сквозь вуаль я чувствую ее холодный, решительный взгляд, устремленный на меня.

– Нет… в этом нет надобности… я вполне уверена в своем состоянии.

Голос на миг умолк. В темноте снова блеснул наполненный стакан.

– Итак, слушайте… но сначала постарайтесь вдуматься немного во все это. К человеку, погибающему от одиночества, вторгается женщина, впервые за много лет белая женщина переступает порог его комнаты… и вдруг я чувствую присутствие в комнате чего-то зловещего, какой-то опасности. Бессознательно ощутил я это: мной овладел трепет перед стальной решимостью этой женщины, вошедшей с беспечной болтовней, а потом вдруг обнажившей свое требование, словно сверкнувший нож. Я знал ведь, чего она от меня хотела, угадал это сразу, – это было не в первый раз, что женщина обращалась ко мне с такой

просьбой, но они приходили не так, приходили пристыженные и умоляющие, плакали и заклинали спасти их. Но тут была… о, тут была стальная, чисто мужская решимость… с первой секунды почувствовал я, что эта женщина сильнее меня… что она могла подчинить меня своей воле… Однако… однако… и во мне сидела какая-то злоба… гордость мужчины, обида, потому что… я сказал уже, что с первой секунды, даже раньше, чем я увидел эту женщину, я почувствовал в ней врага.

Сначала я молчал. Молчал упорно и ожесточенно. Я чувствовал, что она смотрит на меня из-под вуали, смотрит прямо и вызывающе и хочет заставить меня говорить. Но я не уступал так легко. Я заговорил, но… уклончиво… невольно переняв ее болтливую, равнодушную манеру Я делал вид, что не понял ее, потому что – не знаю, можете ли вы почувствовать это, – я хотел заставить ее высказаться яснее, я не хотел предлагать, наоборот… хотел, чтобы меня просили… чтобы просила она, явившаяся с таким властным видом… и, кроме того, я знал, как легко я подчиняюсь власти таких высокомерных, холодных женщин.

Я ходил вокруг да около, говорил, что ей нечего опасаться, что такие обмороки вполне в порядке нормального хода вещей, напротив, они даже являются залогом нормального развития беременности. Я приводил случаи из клинических журналов… я говорил, говорил спокойно и легко, рассматривая ее недомогание как нечто весьма обычное, и… все ждал, что она меня остановит. Я знал, что она не выдержит.

И действительно, она резким движением руки прервала меня, словно отстраняя прочь все эти успокоительные разговоры.

– Меня, доктор, не это тревожит. В тот раз, когда я родила своего мальчика, мое здоровье было в лучшем состоянии… но теперь я уже не all right[4 - Вполне здорова (англ.).]… у меня бывают сердечные припадки…

– Вот как, сердечные припадки, – повторил я, изображая на лице беспокойство, – сейчас же посмотрим.

Я сделал вид, что встаю и достаю слуховую трубку. Но она мгновенно остановила меня. Голос ее звучал теперь остро и повелительно, как голос команды на плацу.

– У меня бывают припадки, доктор, и я должна просить вас верить моим словам. Я не хотела бы терять время на исследования, вы могли бы, думается, оказать мне немного больше доверия. Я, со своей стороны, достаточно доказала свое доверие вам.

Теперь это была уже борьба, открыто брошенный вызов. И я принял его.

– Доверие требует откровенности, полной откровенности. Говорите ясно, я врач. И прежде всего снимите вуаль, садитесь сюда, оставьте книги и все эти уловки. К врачу не приходят под вуалью.

Гордо выпрямившись, она окинула меня взглядом. Минуту помедлила. Потом села и подняла вуаль. Я увидел лицо, такое, какое боялся увидеть, непроницаемое лицо, твердое, уверенное, полное не зависящей от возраста красоты, лицо с серыми английскими глазами, казалось, исполненными спокойствия, но скрывающими внутренний огонь. Эти узкие сжатые губы умели хранить тайны. Она смотрела на меня повелительно и испытующе, с такой холодной стальной жестокостью, что я не выдержал и невольно отвел взор.

Она слегка постукивала пальцами по столу. Значит, и она нервничала. Затем она вдруг сказала:

– Знаете ли вы, доктор, чего я от вас хочу, или не знаете?

– Кажется, знаю. Но лучше поговорим начистоту. Вы хотите освободиться от вашего состояния… хотите, чтобы я избавил вас от ваших обмороков и тошноты, устранив… устранив причину. В этом все дело?

– Да.

Как топор гильотины, упало это слово.

– А вы знаете, что подобные эксперименты опасны… для обеих сторон?..

– Да.

– Что закон запрещает их?

– Бывают случаи, когда это не только не запрещено, но, напротив, рекомендуется.

– Это бывает только при наличии известных медицинских данных.

– Так вы найдете эти данные. Вы – врач.

Ясно, твердо, не мигая, смотрели на меня ее глаза. Это был приказ, и я, слабохарактерный, дрожал, пораженный демонической мощью ее воли. Но я еще корчился, не хотел показать, что я уже раздавлен. «Только не спешить! Всячески оттягивать! Принудить ее просить», – мелькало во мне какое-то смутное желание.

– Это не всегда во власти врача. Но я готов… посоветоваться с коллегой в больнице…

– Не надо мне вашего коллеги… я пришла к вам.

– Позвольте узнать, почему именно ко мне?

Она холодно взглянула на меня.

– Не вижу причины скрывать это от вас. Вы живете в стороне, вы меня не знаете, вы хороший врач, и вы… – она в первый раз запнулась, – вероятно, недолго пробудете в этих местах, особенно если… если вы сможете увезти домой приличную сумму.

Меня так и обдало холодом. Эта сухая, купеческая ясность расчета ошеломила меня. До сих пор губы ее еще не раскрылись для просьбы, но она давно уже вычислила и сначала выследила меня, а потом начала травить.

Я чувствовал, как проникала в меня ее демоническая воля, но сопротивлялся с ожесточением. Еще раз заставил я себя принять деловитый, почти иронический тон.

– И эту приличную сумму вы… вы предоставили бы в мое распоряжение?

– За вашу помощь и немедленный отъезд.

– Вы знаете, что я, таким образом, теряю свою пенсию?

– Я возмещу вам ее.

– Вы говорите очень определенно… Но я хотел бы еще больше определенности. Какую сумму имели вы в виду в качестве гонорара?

– Двенадцать тысяч гульденов, с выплатой по чеку в Амстердаме.

Я задрожал… задрожал… от гнева и… и от восхищения. Все она рассчитала, и сумму, и способ платежа, принуждавший меня к отъезду; она меня оценила и купила, не зная меня, распорядилась мной в предвидении своей власти. Я был бы рад дать ей пощечину… Но, когда я поднялся дрожа, – она тоже встала, – я посмотрел ей прямо в глаза, взглянул на этот плотно сжатый рот, не желавший просить, на этот надменный лоб, не желавший склониться, мной вдруг овладела… овладела… какая-то жажда насилия. Должно быть, и она это почувствовала, потому что высоко подняла брови, как делают, когда хотят осадить навязчивого человека, между нами сверкнула открытая вражда. Я знал, что она ненавидит меня, потому что нуждается во мне, а я ее ненавидел за то… за то, что она не хотела просить. В эту секунду, в эту единственную секунду молчания мы в первый раз говорили друг с другом вполне откровенно. Потом, словно липкий гад, заползла мне в душу мысль, и я сказал… сказал ей…

Но подождите, так вы неправильно поняли бы, что я сделал… что сказал… мне нужно сначала объяснить вам, как… как зародилась во мне эта безумная мысль…

Опять тихонько звякнул в темноте стакан. И голос сделался более возбужденным.

– Не думайте, что я хочу извиняться, оправдываться, обелить себя… Но вы без этого не поймете… Не знаю, был ли я когда-нибудь хорошим человеком… но, кажется, помогал я всегда охотно… это была ведь единственная радость в моей собачьей жизни, когда я, пользуясь крупицей знаний, уцелевших у меня в

голове, спасал какую-нибудь тлеющую искорку жизни… я чувствовал себя тогда маленьким богом… Право, это были мои лучшие минуты, когда приходил этакий желтый парнишка, посиневший от страха, со змеиным укусом на вспухшей ноге, заранее выл, чтобы ему не отрезали ногу, и я умудрялся спасти его. Я проводил долгие часы в пути, чтобы посетить лежащую в лихорадке женщину; случалось мне оказывать и такую помощь, какой ждала от меня сегодняшняя посетительница, – еще в Европе, в клинике. Но тогда я чувствовал, что я кому-то нужен, тогда я знал, что спасаю кого-то от смерти или от отчаяния, а это и нужно самому помогающему, это сознание, что ты нужен другому.

Но эта женщина – не знаю, могу ли объяснить вам это – волновала, раздражала меня с той минуты, когда вошла в мой дом, словно мимоходом, вызывала своим высокомерием сопротивление, будила во мне все… как бы это сказать… будила все подавленное, все скрытое, все низменное. Меня сводило с ума то, что она разыгрывала леди и с холодной неприступностью предлагала мне сделку, когда речь шла о жизни и смерти. И затем… затем, в конце концов, от игры в гольф не становятся ведь беременными… я знал… то есть я должен был вдруг с ужасающей ясностью представить себе… это и была та мысль… с ужасающей ясностью представить себе, что эта спокойная, эта надменная, эта холодная женщина, презрительно поднявшая брови над своими стальными глазами, когда я, только для протеста… да, почти негодующе взглянул на нее, что она два или три месяца назад, разгоряченная, лежала в постели с мужчиной, голая, как зверь, и, может быть, стонала от наслаждения, и тела их впивались друг в друга, как их губы… Вот это, вот это и была обжигавшая меня мысль, когда она посмотрела на меня с таким высокомерием, с такой неприступной холодностью, словно английский офицер… и тогда, тогда все напрягалось во мне… и я обезумел от мысли унизить ее… с этого мгновения я видел сквозь платье ее голое тело… с этого мгновения я только и жил мыслью овладеть ею, вырвать стон из ее жестких губ, видеть эту холодную, эту гордую женщину в порыве сладострастия, как тот, другой, которого я не знал. Это… это я и хотел вам объяснить… Как я ни опустился, я, как врач, никогда не пытался злоупотреблять своим положением… но на этот раз это ведь не была похоть, в этом не было ничего сексуального, я говорю правду… я ведь не стал бы отпираться… только страстное желание победить ее гордость… стать ее господином, как мужчина… Я, кажется, уже говорил вам, что высокомерные, холодные на вид женщины всегда имели надо мной особую власть… но теперь, теперь к этому прибавлялось еще то, что я уже семь лет не имел белой женщины, что я не знал сопротивления… Здешние девушки, эти щебечущие изящные зверьки, дрожат ведь от благоговения, когда их берет белый человек, «господин»… они смиренны и покорны, всегда доступны, всегда готовы отдаться со своим тихим

гортанным смехом… но именно эта покорность, эта рабская угодливость и отравляет все наслаждение… Понимаете ли вы теперь, понимаете ли вы, как ошеломляюще подействовало на меня внезапное появление этой женщины, полной презрения и ненависти, застегнутой на все пуговицы и в то же время дразнившей своей тайной и отягченной недавней страстью… когда подобная женщина дерзко входит в клетку такого мужчины, такого одинокого, изголодавшегося, отрезанного от всего мира полузверя… Это… вот это я хотел вам только сказать, чтобы вы поняли все остальное… поняли то, что теперь произошло. Итак… полный какого-то злого желания, отравленный мыслью о ней, обнаженной, чувственной, отдающейся, я словно сжался весь в комок и напустил на себя равнодушный вид. Я холодно произнес:

– Двенадцать тысяч гульденов?.. Нет, это меня не удовлетворяет.

Она взглянула на меня, немного побледнев. Вероятно, она уже догадывалась, что мой отказ вызван не алчностью. Но все же она сказала:

– Сколько же вы хотите?

Я больше не желал говорить спокойным тоном.

– Будем играть в открытую. Я не делец… не бедный аптекарь из «Ромео и Джульетты», продающий яд за презренное золото… я представляю собой, скорее, противоположность делового человека… этим путем вам не удастся достигнуть желаемого.

– Так вы не хотите это сделать?

– За деньги – нет.

На миг воцарилась тишина. Было так тихо, что я в первый раз услышал ее дыхание.

– Чего же вы еще можете хотеть?

Теперь я больше не владел собой.

– Во-первых, я хочу, чтобы вы… чтобы вы обращались ко мне не как к торговцу, а как к человеку. Чтобы вы, если вам нужна помощь, не… совали сейчас ваши гнусные деньги… а попросили… попросили меня, как человека, помочь вам, как человеку… я не только врач, у меня не только приемные часы… у меня бывают и другие часы… может быть, вы пришли бы в такой час…

Она минуту молчит. Потом ее рот слегка кривится, дрожит и быстро произносит:

– Значит, если бы я вас попросила… тогда вы сделали бы это?

– Вот вы уже опять хотите заключить со мной сделку, вы согласны попросить только в том случае, если я сначала обещаю. Сначала вы должны меня попросить, тогда я вам отвечу.

Она высоко вскидывает голову, как горячая лошадь; с гневом смотрит она на меня.

– Нет, я не стану вас просить. Лучше погибнуть.

Тут мною овладевает гнев, красный, безумный гнев.

– Тогда я требую, если вы не хотите просить. Я думаю, мне не нужно выражаться яснее, – вы знаете, чего я от вас хочу. Тогда, тогда я вам помогу.

На миг она остолбенела. Потом, – о, я не могу, не могу передать, как ужасно это было, – потом ее черты нахмурились, и потом… потом она вдруг расхохоталась… с нескрываемым презрением расхохоталась мне прямо в лицо… с презрением, которое уничтожило меня… и в то же время еще больше опьянило… Это было похоже на взрыв, внезапный, раскатистый, мощный… такая чудовищная сила чувствовалась в этом презрительном смехе, что я… да, я готов был упасть на колени и целовать ее ноги. Это продолжалось одно мгновение… словно молния; у меня был огонь во всем теле… вдруг она повернулась и быстро пошла к двери.

Я невольно хотел пойти за ней… просить прощения… умолять ее… моя сила была ведь совсем сломлена… но она еще раз обернулась и сказала… и это звучало как приказ:

– Не смейте идти за мной или наводить справки… Вам пришлось бы раскаяться.

В тот же миг за ней захлопнулась дверь.

Снова пауза. Снова молчание… Снова неумолчное журчание, словно от струящегося лунного света. И наконец опять его голос:

– Хлопнула дверь… но я стоял, не двигаясь с места… я был словно загипнотизирован ее приказом… я слышал, как она спускалась по лестнице, как закрылась входная дверь… я слышал все, и вся моя воля устремилась ей вслед… чтобы ей… я не знаю, что… чтобы позвать ее назад, или ударить, или задушить… но только за ней… за ней… Но что-то удерживало меня. Мои ноги были словно парализованы электрическим ударом… я был поражен, поражен в самую душу убийственной молнией ее взора… Я знаю, что этого не объяснить и не рассказать… это может показаться смешным, но я все стоял и стоял… прошло несколько минут, может быть, пять, может быть, десять, прежде чем я мог оторвать ногу от земли…

Но как только я ступил ногой, я уже снова весь горел и готов был бежать… вмиг слетел я с лестницы… Она могла ведь пойти только по улице, ведущей к станции. Я бросаюсь в сарай за велосипедом, вижу, что забыл ключ, срываю засов, бамбук трещит и разлетается в щепы. И вот я уже на велосипеде и несусь ей вдогонку… я должен… я должен догнать ее, прежде чем она сядет в автомобиль… я должен поговорить с ней…

Я мчусь, оставляя за собой облака пыли… теперь только я вижу, как долго я простоял в оцепенении… там… на повороте в лесу, перед самой станцией я вижу ее, идущую торопливым твердым шагом, в сопровождении боя… Но и она, несомненно, заметила меня, потому что говорит что-то бою, и тот останавливается, а она идет дальше одна… Что она задумала? Почему хочет быть одна?.. Может быть, она хочет поговорить со мной так, чтобы он не слышал?.. Яростно нажимаю я на педали… Вдруг что-то бросается сбоку передо мной на дорогу… это бой… я едва успеваю рвануть велосипед в сторону и лечу на землю…

Встаю с ругательствами… невольно заношу кулак, чтобы дать болвану тумака, но он легко увертывается… Встряхиваю свой велосипед, собираясь снова

вскочить на него… Но подлец опять тут как тут, хватается за велосипед и бормочет на ломаном английском языке: «You remain here»[5 - Вы останетесь здесь (англ.).].

Вы не жили в тропиках… Вы не знаете, какая это дерзость, когда такой желтокожий бездельник хватается за велосипед белого «господина» и ему, «господину», приказывает остаться на месте. Вместо ответа я заезжаю ему кулаком в физиономию… он отшатывается, но все-таки держит велосипед… его глаза, узкие трусливые глаза, широко раскрыты и полны рабского страха… но он держит руль, держит его чертовски крепко… «You remain here», – бормочет он еще раз. К счастью, при мне не было револьвера, а то я непременно пристрелил бы мальчишку. «Прочь, каналья!» – прорычал я. Он глядит на меня, весь согнувшись, но не отпускает руля. Я наношу ему новый удар по голове, он все еще не отпускает. Тогда я прихожу в ярость… я вижу, что ее уже нет, может быть, она уже уехала… я закатываю ему настоящий боксерский удар в подбородок, сшибающий его с ног… Теперь велосипед опять в моем распоряжении… вскакиваю в седло, но машина не идет… во время борьбы погнулась спица… Дрожащими руками я пытаюсь выпрямить ее… Ничего не выходит… тогда я швыряю велосипед на дорогу рядом с негодяем, который встает, весь в крови, и уходит в сторону… И тогда, нет, вы не можете понять, каким смешным и позорным считается там, если европеец… словом, я не соображал уже, что делал… у меня была только одна мысль: бежать за ней, догнать ее… и я пустился бежать, бежал как сумасшедший по деревенской улице мимо лачуг, где желтый сброд в изумлении теснился у дверей, чтобы видеть, как бежит белый человек, как бежит доктор.

Обливаясь потом, добрался я до станции… Мой первый вопрос был: «Где автомобиль?..» – «Только что уехал…» С удивлением смотрели на меня люди: я должен был показаться им сумасшедшим, когда прибежал мокрый и покрытый грязью и еще издали выкрикивал свой вопрос… На улице за станцией я вижу клубящийся белый дымок автомобиля… ей удалось удрать… удалось, как должны удаваться все ее твердые, жестокие расчеты…

Но бегство ей не поможет… В тропиках нет тайн между европейцами… один знает другого, всякая мелочь вырастает в событие… Не напрасно простоял шофер целый час перед правительственным бунгало… через несколько минут я знаю все… Знаю, кто она… что живет она внизу в… ну, в областном городе в восьми часах езды отсюда по железной дороге… что она… ну, скажем, жена крупного коммерсанта, безумно богата, из хорошей семьи, англичанка… знаю,

что ее муж пробыл теперь пять месяцев в Америке и в ближайшие дни должен приехать, чтобы взять ее с собой в Европу…

Но она, – и эта мысль, как яд, сжигает меня, – она не больше двух или трех месяцев в положении.

– До сих пор я мог еще быть понятным для вас… может быть, только потому, что до этого момента сам еще понимал себя… сам, как врач, ставил диагноз своего состояния. Но тут мной словно овладела лихорадка… я потерял способность управлять собой… то есть я ясно сознавал, как бессмысленно было все, что я делал, но я не имел больше власти над собой… я больше не понимал самого себя… я как безумный бежал вперед, видя перед собой только одну цель… Впрочем, подождите… я постараюсь сделать это более понятным для вас… Знаете вы, что такое «амок»?

– Амок?.. Что-то припоминаю… Это род опьянения у малайцев…

– Это больше чем опьянение… это бешенство, напоминающее собачье… припадок бессмысленной, кровожадной мономании, который нельзя сравнить ни с каким другим видом алкогольного отравления… во время своего пребывания там я сам наблюдал несколько случаев, – когда дело идет о других, мы всегда очень рассудительны и деловиты, – но мне так и не удалось выяснить ужасной и таинственной причины этой болезни… Она находится в какой-то связи с климатом, с этой душной, сгущенной атмосферой, которая, как гроза, давит на нервы, пока наконец они больше не выдерживают… Итак, я говорил об амоке… да, амок… вот как это бывает: какой-нибудь малаец, человек простой и добродушный, сидит и тянет свою водку… сидит, отупевший, равнодушный, вялый… как я сидел у себя в комнате… и вдруг вскакивает, хватает кинжал и бросается на улицу… и бежит все вперед и вперед… сам не зная куда… Кто бы ни попался ему на дороге, человек или животное, он убивает его своим крисом, и вид крови еще больше разжигает его… Пена выступает у него на губах во время бега, он воет, как дикий зверь… и бежит, бежит, бежит, не смотрит ни направо, ни налево, бежит, со своим резким криком и с окровавленным крисом в руке, по своему ужасному неуклонному пути… Люди в деревнях знают, что нет силы, которая могла бы остановить гонимого амоком… они кричат, предупреждая других, при его приближении: «Амок! Амок!» – и все обращается в бегство… а он бежит, не слыша, не видя, убивая встречных… пока его не пристрелят, как бешеную собаку, или он сам не рухнет с пеной у рта…

Я видел это раз из окна своего бунгало… это было жуткое зрелище… но только благодаря тому, что я это видел, я понимаю самого себя в те дни… потому что точно так же, с тем же ужасным, обращенным вперед взором, с тем же бешенством ринулся я… вслед за этой женщиной… Я не знаю теперь, как я все это проделал, с такой чудовищной, безумной быстротой мелькало все мимо меня… Через десять минут, нет, что я говорю, через пять, через две… после того, как я узнал все подробности об этой женщине, ее имя, адрес, историю ее жизни, я мчался уже на одолженном мне велосипеде домой, швырнул в чемодан костюм, захватил денег и уехал в экипаже на железнодорожную станцию… уехал, не предупредив районного чиновника… не назначив себе заместителя, бросив дом на произвол судьбы… Вокруг меня столпились слуги, изумленные женщины о чем-то спрашивали меня, но я не отвечал, даже не обернулся… уехал на железную дорогу и первым поездом отправился в город… Прошло не больше часа с того мгновения, как эта женщина вошла в мою комнату, а я успел уже разбить всю свою жизнь и мчался, гонимый амоком, в пустоту…

Я мчался вперед, готовый головой пробивать стены… в шесть часов вечера я приехал… в десять минут седьмого я был у нее в доме и велел доложить о себе… Это было… вы понимаете… самое бессмысленное, самое глупое, что я мог сделать… но гонимый амоком бежит с незрячими глазами, он не видит, куда бежит… Через несколько минут слуга вернулся… вежливый и холодный… госпожа плохо себя чувствует и не может меня принять…

Я вышел шатаясь… Целый час я бродил вокруг дома в безумной надежде, что она пошлет за мной… лишь затем я занял номер в Странд-отеле и потребовал себе в комнату две бутылки виски… этот виски и двойная доза веронала помогли мне… я наконец уснул… и этот тяжелый, мутный сон был единственной передышкой в этой скачке между жизнью и смертью.

Прозвучал колокол – два твердых, полновесных удара, долго вибрировавших в мягком, почти неподвижном воздухе и постепенно угасших в тихом неумолчном журчании, долетавшем из-под киля и все время сопровождавшем возбужденную речь рассказчика. Человек, сидевший во мраке против меня, как будто вздрогнул, и слова его пресеклись. Я опять услышал, как рука тянется к бутылке, услышал тихое бульканье. Потом, несколько успокоившись, он более твердым голосом начал:

– То, что последовало с этого момента, я едва ли сумею вам передать. Теперь я думаю, что тогда у меня была лихорадка, во всяком случае, я был в состоянии крайнего возбуждения, граничившего с безумием, – человек, гонимый амоком, как я вам говорил. Но не забудьте, что я приехал во вторник ночью, а в субботу, как я успел узнать, должен был прибыть пароходом из Иокогамы ее супруг; следовательно, оставалось только три дня, три коротких дня, чтобы решить вопрос и оказать ей помощь. Поймите: я знал, что должен оказать ей немедленную помощь, и не мог поговорить с ней. И именно эта потребность просить прощения за мое смешное, необузданное поведение и разжигала меня сильнее. Я знал, как драгоценно каждое мгновение, знал, что для нее это вопрос жизни и смерти, и все-таки не имел возможности шепнуть ей словечко, подать ей какой-нибудь знак, потому что она была напугана моим неистовым и нелепым преследованием. Это было… да, подождите… как бывает, когда один бежит пред остеречь другого, что его хотят убить, а тот принимает его самого за убийцу и бежит вперед, навстречу своей гибели… она видела во мне только гонимого амоком, который преследует ее, чтобы унизить, а я… в этом и была вся ужасная бессмыслица… я больше и не думал об этом… я был вконец уничтожен, хотел только помочь ей, быть ей полезным… я пошел бы на убийство, на преступление, чтобы ей помочь… Но она, она этого не понимала. Когда я утром проснулся и сейчас же побежал опять к ее дому, у дверей стоял бой, тот самый бой, которого я ударил в лицо, и, как только издали заметил меня, – несомненно, он поджидал меня, – он проворно юркнул в дверь. Возможно, что он это сделал только для того, чтобы предупредить о моем приходе… возможно… ах, эта неизвестность, как мучит она меня теперь!.. может быть, тогда все было уже подготовлено для моего приема… но в тот миг, когда я его увидел и вспомнил о своем позоре, тогда я опять потерял всякую решимость еще раз повторить свой визит… У меня дрожали колени. Перед самым порогом я повернулся и ушел… ушел в ту минуту, когда она, может быть, в не меньшей муке ждала меня.

Теперь я совсем уже не знал, что делать в этом чужом городе, который пугал и угнетал меня… Вдруг у меня мелькнула мысль; в тот же миг я окликнул экипаж, поехал к тому самому вице-резиденту, которому я тогда оказал помощь у себя на станции, и велел о себе доложить… В моем внешнем виде было, вероятно, что-то странное, потому что он посмотрел на меня как-то испуганно, и в его вежливости сквозило беспокойство… по-видимому, он тогда уже отгадал во мне человека, гонимого амоком… Я решительно заявил ему, что прошу перевести меня в город, так как не могу больше выдержать на моем посту… я должен переехать немедленно…

Он взглянул на меня… не могу вам передать, как он на меня взглянул… ну, примерно так, как смотрит врач на больного…

– У вас нервы не выдержали, милый доктор, – сказал он затем, – я это прекрасно понимаю. Ну, это можно будет как-нибудь устроить, подождите только немного… скажем, недели четыре… мне нужно сначала подыскать вам заместителя.

– Не могу ждать ни единого дня, – ответил я.

Он опять взглянул на меня этим странным взглядом.

– Нужно потерпеть, доктор, – серьезно сказал он, – мы не можем оставить станцию без врача. Но обещаю вам, что сегодня же займусь этим.

Я стоял перед ним со стиснутыми зубами; в первый раз я ясно ощутил, что я продавшийся человек, раб. Во мне уже накипало упрямое сопротивление, но он, светский и ловкий, опередил меня:

– Вы отвыкли от людей, доктор, а это тоже своего рода болезнь. Мы тут удивлялись, почему вы никогда не приезжаете, никогда не берете отпуска. Вы нуждаетесь в обществе, в развлечениях. Приходите, по крайней мере, сегодня вечером, сегодня прием у губернатора, вы встретите всю колонию, а многие давно уже хотели познакомиться с вами, часто осведомлялись о вас и высказывали пожелания, чтобы вы перебрались сюда.

Последние его слова поразили меня. Осведомлялись обо мне? Не она ли? Я сразу словно переродился и, поблагодарив вице-резидента самым вежливым образом за приглашение, обещал быть пунктуальным. И я был точен, даже слишком точен. Нужно ли мне говорить вам, что, гонимый своим нетерпением, я первый явился в огромный зал правительственного здания и стал ждать; безмолвные желтокожие слуги сновали туда и сюда, мягко ступая босыми ногами, и, как мерещилось моему помраченному сознанию, посмеивались за моей спиной. В течение четверти часа я был единственным европейцем среди этой бесшумной толпы и настолько ушел в себя, что слышал только тиканье часов в своем жилетном кармане. Наконец пришли два-три чиновника со своими семьями, а затем появился и сам губернатор, вступивший со мной в продолжительную беседу; я внимательно слушал его и, как мне казалось, удачно отвечал, пока…

пока мной не овладела вдруг какая-то необъяснимая нервозность, я потерял самообладание и стал говорить невпопад. Я стоял спиной к входной двери зала, но сразу почувствовал, что вошла она, что она уже здесь. Я не мог бы объяснить вам, как возникла во мне эта смутившая меня уверенность, но, говоря с губернатором и прислушиваясь к звуку его слов, я в то же время ощущал где-то за собой ее присутствие. К счастью, губернатор вскоре окончил разговор, – мне кажется, что, если бы он не отпустил меня, я все равно бы, пренебрегая вежливостью, обернулся бы, так сильно было это странное напряжение моих нервов, так мучительно хотелось мне оглянуться. И действительно, не успел я повернуться, как увидел ее на том самом месте, где мысленно представил себе ее. На ней было желтое бальное платье, оставлявшее обнаженными прекрасные узкие плечи, сверкавшие, как матовая слоновая кость. Она разговаривала, стоя среди группы гостей. Она улыбалась, но мне показалось, что я уловил на ее лице какое-то напряжение. Я подошел ближе – она не могла меня видеть или не хотела видеть – и смотрел на эту улыбку, любезную и вежливую, игравшую на тонких губах. И эта улыбка снова опьянила меня, потому что она… ну, потому что я знал, что это ложь, искусство, техника, шедевр притворства. Сегодня среда, мелькнуло у меня в голове, в субботу приходит пароход, на котором едет ее муж… как может она так смеяться, так… так уверенно, так беззаботно смеяться и лениво играть веером, вместо того чтобы скомкать его от волнения? Я… я, чужой… я дрожал уже два дня с того часа… я, чужой, переживал за нее ее боязнь, ее ужас, со всеми эксцессами разбушевавшегося чувства… а она явилась на бал и улыбалась, улыбалась, улыбалась…

Где-то позади заиграла музыка. Начались танцы. Пожилой офицер пригласил ее, она, извинившись, оставила круг своих знакомых и прошла под руку с ним мимо меня в другой зал. Когда она заметила меня, внезапная судорога пробежала по ее лицу, но только на секунду, потом она вежливо кивнула мне, соблаговолив узнать меня, как случайного знакомого, прежде чем я успел решить, поклониться мне или нет. «Добрый вечер, доктор». Миг, и она ушла. Никто не мог бы разгадать, что было скрыто в этом серо-зеленом взгляде, и я, я сам этого не знал. Почему она поклонилась… почему вдруг узнала меня?.. Была ли это самозащита, или шаг к примирению, или просто следствие неожиданности? Не могу вам изобразить, в каком я находился волнении, во мне все всколыхнулось и готово было вырваться наружу. Я смотрел на нее, спокойно вальсирующую в объятиях офицера, с холодным и беспечным выражением на лице, а я ведь знал, что она… что она так же, как и я, думала только о том… только о том… что между нами двумя среди всей этой толпы была ужасная тайна… а она вальсировала… в эти секунды моя боязнь, мое страдание и восхищение были сильнее, чем когда-либо. Не знаю, наблюдал ли кто-нибудь за мной, но,

несомненно, я своим поведением выдавал гораздо больше, чем она хотела скрыть, – я не мог заставить себя смотреть в другом направлении, я должен был… да, я должен был смотреть на нее, я пожирал ее глазами, я издали впивался в ее невозмутимое лицо, следя, не уронит ли она маску, хотя бы на миг. Она, несомненно, чувствовала на себе этот упорный взгляд, и ей было неприятно. Возвращаясь под руку со своим кавалером, она сверкнула на меня глазами повелительно, словно приказывая уйти. Уже виденная мною однажды складка гордого гнева снова прорезала ее лоб…

Но… но… я ведь уже говорил вам… меня гнал амок, я не оглядывался ни вправо, ни влево. Я мгновенно понял ее, этот взгляд говорил: «Не возбуждай внимания! Владей собой». Я узнал, что она… как бы это выразить?.. что она требовала от меня корректного поведения здесь, в людном зале… Я понимал, что, уйди я теперь домой, я мог бы завтра с уверенностью рассчитывать быть принятым ею… Она хотела только избегнуть здесь бросающейся в глаза интимности с моей стороны… я знал, что она – и с полным основанием – боится какой-нибудь моей неловкой выходки… Вы видите… я узнал все, я понял этот повелительный взгляд, но… но это было выше моих сил, я должен был говорить с нею. Итак, я, шатаясь, направился к группе гостей, среди которых она стояла, разговаривая, и присоединился к этому немногочисленному кружку, хотя знал лишь немногих из присутствовавших… Я хотел слышать, как она говорит, но избегал, точно побитая собака, ее взгляда, изредка так холодно скользившего по мне, словно я был холщовой портьерой, к которой прислонялся, или воздухом, который слегка эту портьеру колыхал. Но я стоял в ожидании слова от нее, какого-нибудь знака примирения, стоял, не сводя с нее глаз, среди общего разговора. Безусловно, это должно было уже обратить на себя внимание, безусловно, потому что никто не сказал мне ни слова; и она страдала от моего нелепого поведения.

Долго ли я так простоял, не знаю… может быть, целую вечность… я не мог разорвать этих чар, сковывавших мою волю… Но она больше не могла выдержать… Внезапно она повернулась со свойственной ей восхитительной непринужденностью к мужчинам и сказала: «Я немного утомлена… хочу сегодня раньше лечь… Спокойной ночи!» И вот она уже проплыла мимо меня, едва кивнув головой. Я успел еще заметить складку на ее лбу, а потом видел уже только спину, белую, холодную, обнаженную спину. Прошли мгновения, прежде чем я понял, что она ушла… что я больше не увижу ее, не смогу говорить с ней в этот вечер, в этот последний вечер, когда еще возможно спасение… итак, я стоял, окаменев на месте, пока не понял всего… а тогда… тогда…

Однако подождите… подождите. Так вы не поймете всей бессмысленности, всей глупости моего поступка… сначала я должен описать вам все место действия… Это было в большом зале правительственного здания, в огромном зале, залитом светом и почти пустом… пары ушли танцевать, мужчины – играть в карты… только по углам болтали небольшие кучки… итак, зал был пуст, малейшее движение бросалось в глаза при ярком свете люстр… и она медленно, легкой походкой, шла по этому огромному залу, изредка величественно отвечая на поклоны… она шла с этим высокомерным, невозмутимым спокойствием, которое так восхищало меня в ней… Я… я оставался на месте, как я вам уже говорил. Я был словно парализован до того мгновения, когда понял, что она уходит… и тогда, когда это понял, она была уже на другом конце зала у самого выхода… Тогда… о, я до сих пор стыжусь вспоминать об этом… тогда что-то вдруг толкнуло меня, и я побежал… вы слышите, я побежал… я не шел, а бежал за ней, и стук моих каблуков громко отдавался в зале… я слышал свои шаги, видел удивленные взгляды, обращенные на меня… я сгорал от стыда… я уже во время бега сознавал свое безумие… но я не мог… не мог вернуться на место… я догнал ее у дверей… Она обернулась… ее глаза серой сталью вонзились в меня, ноздри дрожали от гнева… я только собрался что-то пробормотать… как она… как она… вдруг громко рассмеялась… звонким, беззаботным, искренним смехом и произнесла… так громко, что все могли слышать… «Ах, доктор, теперь только вы вспомнили о рецепте для моего мальчика… Ах, эти люди науки!..»

Стоявшие вблизи добродушно засмеялись… я понял, был поражен – как мастерски спасла она положение!.. Порывшись в бумажнике, я наскоро вырвал из блокнота чистый листок… она спокойно взяла его и… ушла… поблагодарив меня еще раз холодной улыбкой… В первый миг я чувствовал себя хорошо… я видел, что она искусно загладила неловкость моего поступка, спасла положение… но тут же я понял, что для меня все потеряно, что эта женщина ненавидит меня за мою нелепую горячность… ненавидит больше смерти… понял, что могу сотни раз подходить к ее двери, и она будет отгонять меня, как собаку.

Шатаясь, шел я по залу… я чувствовал, что на меня смотрят… у меня был, вероятно, страшный вид… Я пошел в буфет, выпил подряд две, три… четыре рюмки коньяку… это спасло меня от обморока… нервы больше не выдерживали, они словно оборвались… Потом я выбрался через боковой выход, тайком, как злоумышленник… Ни за какие блага в мире не прошел бы я опять по тому залу, где стены еще хранили отзвук ее смеха… я пошел… точно не знаю, куда я пошел… в какие-то кабаки… и напился, напился, как человек, который хочет все забыть… но… но мне не удалось одурманить себя… этот смех звучал во мне,

резкий и злобный… этот проклятый смех я никак не мог заглушить… Потом я бродил по гавани… револьвер я оставил в отеле, а то непременно бы застрелился. Я больше ни о чем и не думал и с одной этой мыслью пошел домой… с мыслью о левом ящике комода, где лежал мой револьвер… с одной этой мыслью.

Если я тогда не застрелился… то, клянусь вам, это была не трусость… для меня было бы облегчением спустить уже взведенный холодный курок… но, как бы объяснить это вам… я чувствовал, что на мне еще лежит долг… да, тот долг помощи, тот проклятый долг… меня сводила с ума мысль, что я могу еще быть полезен ей, что я нужен ей, уже… это было ведь утро четверга, а в субботу… я ведь говорил вам… в субботу должен был прийти пароход, и я знал, что эта женщина, эта надменная, гордая женщина, не переживет своего позора перед мужем и перед светом… О, как мучили меня мысли о бессмысленно потерянном драгоценном времени, о моей безумной опрометчивости, сделавшей невозможной своевременную помощь… часами, часами, клянусь вам, ходил я взад и вперед по комнате и ломал себе голову, стараясь найти способ приблизиться к ней, исправить свою ошибку, помочь ей… Что она больше не допустит меня к себе, было для меня совершенно ясно… я всеми своими фибрами ощущал еще ее смех и гневное вздрагивание ее ноздрей… часами, часами метался я по своей узкой комнате… был уже день, время приближалось к полудню…

И вдруг меня толкнуло к столу… я выхватил пачку почтовой бумаги и начал писать ей… писать обо всем… визгливое, собачье письмо, в котором я просил у нее прощения, называл себя сумасшедшим, преступником… в котором я умолял ее довериться мне… Я обещал исчезнуть в тот же час из города, колонии, даже из жизни, если бы она этого пожелала… лишь бы она простила мне, и поверила, и позволила помочь ей в этот последний, роковой час… Я исписал двадцать страниц… Это было безумное, невероятное письмо, похожее на горячечный бред. Когда я поднялся из-за стола, я был весь в поту… комната плыла перед глазами, я должен был выпить стакан воды… тогда лишь попытался я перечитать письмо, но мне стало страшно при первых же словах… дрожащими руками сложил я его и собирался уже положить в конверт… и вдруг меня осенило. Я нашел истинное, решающее слово. Еще раз схватил я перо и приписал на последнем листке: «Я жду здесь, в Странд-отеле, Вашего прощения. И если до семи часов не получу ответа, я застрелюсь».

После этого я позвонил бою и велел ему отнести письмо. Наконец-то было сказано все!

* * *

Возле нас что-то зазвенело и покатилось – неосторожным движением он опрокинул бутылку с виски. Я слышал, как его рука шарила по палубе и наконец схватила пустую бутылку; широким взмахом бросил он ее в море. Несколько минут он молчал, потом он продолжал еще более лихорадочно, еще более возбужденно и торопливо:

– Я больше не верю ни во что… для меня нет ни неба, ни ада… а если и есть ад, то я его не боюсь: он не может быть ужаснее тех часов, которые я пережил от полудня до вечера… Вообразите маленькую комнату, нагретую солнцем, все более накаляемую его полуденным жаром… комнатку, где есть только стол, стул и кровать… на этом столе – ничего, кроме часов и револьвера, а за столом – человек… неподвижный и не сводящий взора с секундной стрелки часов… человек, который все время… все, слышите, все время, три часа подряд, смотрит на белый круг циферблата и на маленькую стрелку, с тиканьем бегущую по этому кругу… Так… так… провел я этот день, все ждал, ждал… но делал это так, как делает что-нибудь гонимый амоком, бессмысленно, тупо, с безумным, прямолинейным упрямством.

Ну… я не стану описывать вам эти часы… это не поддается описанию… я и сам ведь не понимаю теперь, как можно было это пережить, не… не сойдя с ума… Итак… в двадцать две минуты четвертого… я знаю точно, потому что смотрел ведь на часы… раздался внезапный стук в дверь… Я вскакиваю… вскакиваю, как тигр, бросающийся на добычу, одним прыжком оказываюсь у двери, распахиваю ее… в коридоре испуганный маленький китайчонок с запиской. Я выхватываю бумажку у него из рук, и он сейчас же исчезает.

Разворачиваю записку, хочу прочесть… я не могу… красные круги плывут передо мной… подумайте об этой муке… наконец, наконец я получил от нее ответ… а тут все прыгает и пляшет перед моими глазами… я окунаю голову в воду… становится лучше… Снова берусь я за записку и читаю:

«Поздно! Но ждите дома. Может быть, я Вас еще позову».

Подписи нет. Бумажка измятая, оторванная от какого-нибудь старого объявления… торопливые, набросанные карандашом строки… я не знал сам, почему меня так взволновал этот листок… какой-то ужас, какая-то тайна была в этих строках, написанных словно во время бегства, где-нибудь на подоконнике или в экипаже… какой-то неописуемый страх и холод повеяли мне в душу от этой тайной записки… и все-таки… и все-таки я был счастлив… она написала мне, я не должен был еще умирать, она позволяла мне помочь ей… может быть… я мог бы… о, я сразу преисполнился самыми несбыточными надеждами и ожиданиями… Сотни тысяч раз перечитывал я маленькую бумажку, целовал ее… осматривал в поисках какого-нибудь забытого, незамеченного слова… все тяжелее, все туманнее становились мои грезы, это был какой-то фантастический сон с открытыми глазами… оцепенение, тупое и в то же время напряженное, что-то среднее между дремотой и бодрствованием, тянувшееся не то четверть часа, не то целые часы…

Вдруг я встрепенулся… Как будто постучали? Я затаил дыхание… минута, две мертвой тишины… А потом опять тихий, словно мышиный шорох, тихий, но настойчивый стук… Я вскакиваю, голова у меня кружится, открываю дверь – за ней стоит бой, ее бой, тот самый, которому я тогда дал в зубы… его коричневое лицо было пепельного цвета, блуждающий взор говорил, что случилось несчастье… Мной овладел ужас…

– Что… что случилось? – с трудом выговорил я.

– Come quickly[6 - Идите быстрее (англ.).], – ответил он… и больше ничего…

Мигом сбежал я с лестницы, он за мной… Внизу стояла «садо», маленькая коляска, мы сели…

– Что случилось? – еще раз спросил я…

Дрожа, взглянул он на меня и молчал, стиснув зубы… Я повторил свой вопрос, но он все молчал и молчал… я охотно дал бы ему опять по физиономии, но… меня трогала его собачья преданность этой женщине… и я не стал больше расспрашивать… Колясочка с такой быстротой мчалась по оживленным улицам, что прохожие с ругательствами отскакивали в стороны. Мы оставили за собой европейский квартал на берегу, проехали нижний город и врезались в крикливую сутолоку китайского квартала… Наконец мы добрались до узкой

улочки, где-то в стороне… остановились перед низкой лачугой… Домишко был грязный, вросший в землю, впереди – лавчонка, освещенная светом сальной свечки… одна из тех лавчонок, за которыми прячутся курильни опиума и публичные дома, воровские притоны и склады краденых вещей… Бой поспешно постучался… За щелью двери послышался сиплый голос… начались бесконечные расспросы… Яне выдержал, выскочил из экипажа, толкнул прикрытую дверь… передо мной отступила, вскрикнув, испуганная старуха китаянка… бой шел за мной, провел меня по узкому проходу… открылась другая дверь… в темную комнату, где стоял запах водки и свернувшейся крови… Оттуда послышался стон… я ощупью пробирался вперед…

Снова пресекся его голос. И дальнейшая речь прерывалась непрестанными всхлипываниями.

– Я… я нащупывал дорогу… и там… там, на грязном матраце… скорчившись от боли… лежало и стонало человеческое существо… лежала она…

В темноте я не видел ее лица… Мои глаза еще не привыкли… ощупью я нашел ее руку… горячую… как огонь… у нее был жар, сильный жар… и я содрогнулся… я сразу понял все… она убежала сюда от меня… дала первой попавшейся грязной китаянке искалечить себя… только потому, что надеялась лучше сохранить так свою тайну… позволила какой-то ведьме убить себя, лишь бы только не довериться мне… только потому, что я, безумец… не пощадил ее гордость, не помог ей сразу… потому что смерти она боялась меньше, чем меня…

Я крикнул, чтобы дали свет. Бой вскочил, отвратительная китаянка дрожащими руками внесла коптящую керосиновую лампу… Я должен был сделать над собой усилие, чтобы не схватить за горло желтую бестию… Она поставила лампу на стол… Желтый луч скользнул по измученному телу… И вдруг… вдруг с меня точно рукой сняло все мое отупение и гнев, весь этот нечистый нагар накопившейся страсти… теперь я был только врач, помогающий, исследующий, вооруженный знанием человек… я забыл все личное… мое сознание прояснилось, и я вступил в борьбу с надвигавшимся ужасом… Нагое тело, о котором я столько мечтал, я ощущал теперь только как… ну, как бы это сказать… как материю, как организм… я не чувствовал, что это она, я видел только жизнь, борющуюся со смертью, человека, корчившегося в убийственных муках… Ее кровь, ее горячая, священная кровь текла по моим рукам, но я не

чувствовал ни восторга, ни трепета… я был только врач… я видел только страдание… и видел…

Я видел, что все погибло, если не вмешается чудо… у нее было повреждение, и она истекала кровью от неумелого вмешательства преступной руки… а у меня не было ничего в этом гнусном вертепе, чтобы остановить кровь… не было даже чистой воды… все, до чего я ни дотрагивался, было покрыто грязью…

– Нужно сейчас же в госпиталь, – сказал я.

Но не успел я этого произнести, как больная судорожным усилием приподнялась с подушки.

– Нет… нет… лучше смерть… чтобы никто не узнал… чтобы никто не узнал… домой… домой…

Я понял… только за тайну, за свою честь боролась она… не за жизнь… И я послушался… Бой принес носилки… мы уложили ее… и так… словно труп, слабую, в лихорадке… несли мы ее сквозь ночь домой… отстранили недоумевающих, испуганных слуг… как воры… внесли мы ее в комнату и заперли двери… А потом… потом началась борьба, долгая борьба со смертью…

Внезапно в мою руку судорожно впилась рука, и я чуть не вскрикнул от испуга и боли. Я видел во мраке его лицо прямо перед собой, его белые зубы, стучавшие от волнения, стекла очков в отблеске лунного света, точно два огромных кошачьих глаза. Теперь он уже не говорил, он кричал, потрясаемый охватившим его гневом:

– Знаете ли вы, вы – чужой человек, сидящий здесь спокойно на палубном стуле, совершающий увеселительную поездку по свету, – знаете ли вы, что это значит, когда умирает человек? Случалось ли вам когда-нибудь быть при этом, видели ли вы, как корчится тело, как синие ногти впиваются в пустоту, как хрипит глотка, как каждый член борется, каждый палец упирается в борьбе с неумолимым призраком, как глаза вылезают из орбит от ужаса, которого не передать словами? Случалось ли вам переживать это, вам, праздному человеку, туристу, вам, рассуждавшему о долге помощи? Я часто видел все это, как врач, видел это, как… как клинические случаи, как факты… я, так сказать, изучал это,

но пережил я это только один раз… я вместе с умирающей переживал это в ту ночь… в ту ужасную ночь, когда я сидел и напрягал свой мозг, чтобы найти что-нибудь, придумать, изобрести против крови, которая все лилась, лилась и лилась, против лихорадки, сжигавшей ее на моих глазах… против смерти, которая подходила все ближе и которую я не мог отогнать от ее постели. Понимаете ли вы, что это значит: быть врачом, знать все обо всех болезнях, чувствовать на себе долг помочь, как вы так основательно заметили, – и все-таки сидеть бессильно возле умирающей, знать и не иметь силы… знать только одно, только эту ужасную истину, что помочь нельзя… нельзя, хотя бы даже вскрыв все вены в своем теле… видеть беспомощно истекающее кровью любимое тело, терзаемое болью, чувствовать пульс, учащенный и прерывистый… быть врачом и ничего не знать, ничего, ничего, ничего… только сидеть и бормотать какую-нибудь молитву, как церковная старушонка, или угрожать кулаками ничтожеству – Богу, о котором только и знаешь, что его нет. Понимаете вы это? Понимаете?.. Я… я только одного не понимаю: как… как люди умудряются не умереть вместе с больными в такие минуты… как, поспав, встают на следующее утро и чистят зубы, и завязывают галстук… как можно жить… жить после того, что я пережил… когда я чувствовал, как улетает ее дыхание… как этот человек, за которого я боролся, которого хотел удержать всеми силами моей души, ускользает от меня… куда-то в неведомое, ускользает с каждой минутой все быстрее, и я ничего не нахожу в своем лихорадочном мозгу, что бы могло удержать этого человека…

И к тому же еще, чтобы удвоить мои дьявольские муки… еще вот это… Когда я сидел у ее постели, я дал ей морфий, чтобы успокоить боли, и смотрел, как она лежит, с пылающими щеками, горячая и истомленная, да… когда я так сидел, я все время чувствовал два глаза, устремленные на меня с ужасным напряжением… Это бой сидел на корточках на полу и шептал какие-то молитвы… Когда его взор встречался с моим, то в нем… нет, я не могу это изобразить… в нем отражалась такая мольба, такая благодарность была в его собачьем взгляде, и в такие минуты он протягивал ко мне руки, словно заклинал меня ее спасти… вы понимаете… ко мне, ко мне простирал он руки, как к Богу… ко мне… безвольному, бессильному человеку, знавшему, что все потеряно… знавшему, что он здесь так же не нужен, как ползущий по полу муравей… Ах, этот взгляд, как мучил он меня… эта фантастическая, эта животная надежда на мое искусство… я мог бы крикнуть на него и ударить ногой, такую боль причинял он мне… и все-таки я чувствовал, что мы оба связаны нашей любовью к ней… и тайной… Как притаившийся зверь, сидел он, свернувшись клубком за моей спиной… стоило мне потребовать чего-нибудь, как он вскакивал, бесшумно ступал своими голыми подошвами и, дрожа… исполненный ожидания, подавал

просимую вещь, словно в этом была помощь… спасение… Я знаю, он позволил бы вскрыть себе вены, чтобы ей помочь… такая женщина это была, такую власть имела она над людьми… а я… у меня не было власти спасти каплю ее крови… О, эта ночь, эта ужасная, бесконечная ночь между жизнью и смертью!

К утру она еще раз очнулась… открыла глаза… теперь в них не было ни высокомерия, ни холодности… они горели влажным, лихорадочным блеском, когда она, словно чужая, озиралась в комнате… потом она взглянула на меня: казалось, она думала, старалась вспомнить что-то, глядя мне в лицо… и вдруг… я видел это… она вспомнила… какой-то страх, какое-то негодование… что-то… что-то… враждебное, гневное исказило ее лицо… она начала двигать руками, как будто хотела бежать… прочь, прочь, прочь от меня… я видел, что она думала о том… о том часе, когда я… Но потом к ней вернулось сознание… она спокойно смотрела на меня, но тяжело дышала… я чувствовал, что она хочет говорить, что-то сказать… опять пришли в движение ее руки… она хотела приподняться, но была слишком слаба… Я успокаивал ее, наклонился над ней… тогда она посмотрела на меня долгим, полным страдания взглядом… ее губы тихо шевелились… это был последний угасающий звук… она сказала:

– Никто не узнает?.. Никто?

– Никто, – сказал я решительным, уверенным голосом, – обещаю вам.

Но в глазах ее все еще было беспокойство… Невнятно, с усилием она пробормотала:

– Поклянитесь мне… что никто не узнает… поклянитесь.

Я поднял руку, как для присяги. Она смотрела на меня… неописуемым взглядом… нежным, теплым, благодарным… да, поистине, поистине благодарным… она хотела еще что-то сказать, но ей было слишком трудно… Долго лежала она, обессилев от напряжения и закрыв глаза. Потом начался ужас… ужас… Еще долгий, мучительный час боролась она. Только к утру настал конец.

Он долго молчал. Я заметил это только тогда, когда со средней палубы раздался в тишине колокол: один, два, три сильных удара – три часа. Лунный свет

потускнел, но в воздухе уже дрожала какая-то новая желтизна, и изредка налетал легкий ветерок. Еще полчаса, час, и настанет день, и весь этот кошмар погаснет в его ярком свете. Теперь я яснее видел черты рассказчика, так как тени не были уже так густы и черны в нашем углу. Он снял фуражку, и я увидел его лысину и измученное лицо, казавшееся еще более страшным. Но вот сверкающие стекла его очков опять уставились на меня, он сел прямее, и его голос принял резкий язвительный тон.

– Для нее теперь настал конец, но не для меня. Я был наедине с трупом – и один в чужом доме, один в городе, не терпевшем тайн, и я… я должен был оберегать тайну… Да, вообразите себе все это положение: женщина из лучшего общества колонии, совершенно здоровая, танцевавшая накануне на правительственном балу, лежит вдруг мертвая в своей постели… при ней находится чужой врач, которого будто бы позвал ее слуга… Никто в доме не видел, когда и откуда он пришел… Ночью внесли ее на носилках и потом заперли двери… А утром она была уже мертва… Тогда лишь позвали слуг, и весь дом вдруг огласился воплями… в тот же миг об этом узнают соседи, весь город… И только один человек может все это объяснить… это – я, чужой человек, врач с отдаленной станции… Приятное положение, не правда ли?..

Я знал, что мне предстояло. К счастью, возле меня был бой, славный мальчуган, который читал малейшее желание в моих глазах, даже это желтокожее тупое животное понимало, что здесь еще придется выдержать борьбу. Мне достаточно было сказать ему: «Госпожа желает, чтобы никто не узнал, что произошло». Он посмотрел мне в глаза своим влажным собачьим, но в то же время решительным взглядом. «Yes, sir»[7 - Да, сэр (англ.).], – больше он ничего не сказал. Но он вытер с пола следы крови, привел себя в полный порядок, и эта решительность его действий вернула и мне самообладание. Никогда в жизни, я знаю это, я не проявлял подобной энергии и никогда больше не смогу ее проявить. Когда человек потерял все, то за последнее он борется с остервенением – и этим последним было ее завещание, ее тайна. Я с полным спокойствием принимал людей, рассказывал им всем одну и ту же вымышленную историю о том, как посланный ею за врачом бой случайно встретил меня по дороге. Но в то время, как я, по-видимому, спокойно рассказывал все это, я ждал… ждал решительной минуты… ждал освидетельствования трупа, которое должно было состояться, прежде чем мы могли запереть в гроб ее – и тайну вместе с нею… Не забудьте, что была пятница, а в субботу должен был приехать ее муж…

В девять часов мне наконец доложили о приходе городского врача. Я велел его впустить, он был старше меня по чину и в то же время мой соперник, тот самый врач, о котором она в свое время так презрительно отзывалась и которому, очевидно, были уже известны мои хлопоты о переводе. Я почувствовал это, как только он взглянул на меня, – он был моим врагом. Но именно это и придало мне силы.

Уже в передней он спросил:

– Когда умерла госпожа?.. – Он назвал ее имя.

– В шесть часов утра.

– Когда она послала за вами?

– В одиннадцать вечера.

– Вы знали, что я ее врач?

– Да, но дело было спешное… и затем… покойная определенно требовала, чтобы пришел я. Она запретила звать другого врача.

Он уставился на меня; румянец появился на его бледном, несколько ожиревшем лице; я чувствовал, что его самолюбие уязвлено. Но это мне только и нужно было: я всеми силами стремился к быстрой развязке, потому что сознавал, что долго мои нервы не выдержат. Он хотел ответить какой-то колкостью, но раздумал и с небрежным видом сказал:

– Ну что же, если вы думали, что можете обойтись без меня, но все-таки мой служебный долг – удостоверить смерть и… отчего она наступила.

Я ничего не ответил и пропустил его вперед. Затем я вернулся к двери, запер ее и положил ключ на стол. Он удивленно поднял брови:

– Что это значит?

Я спокойно встал против него:

– Тут речь идет не о том, чтобы установить причину смерти, а о том, чтобы скрыть ее. Эта женщина позвала меня, чтобы я помог ей после… после неудачного вмешательства… я уже не мог ее спасти, но обещал ей спасти ее честь и исполню это. И я прошу вас помочь мне!

Он широко раскрыл глаза от изумления.

– Неужели вы хотите сказать, – пробормотал он, – что я, официальный врач, должен покрыть здесь преступление?

– Да, я этого хочу, я должен этого хотеть.

– Чтобы я за ваше преступление…

– Я уже сказал вам, что я и не прикасался к этой женщине, иначе… иначе я не стоял бы перед вами и давно бы уже покончил с собой. Она искупила свой проступок, – если вам угодно так это называть, – и свет ничего не должен об этом знать. И я не потерплю, чтобы честь этой женщины была теперь бессмысленно поругана.

Мой решительный тон вызвал в нем еще большее раздражение.

– Вы не потерпите… так… ну, вы ведь мой начальник… или, по крайней мере, собираетесь стать им… попробуйте только приказывать мне… я сразу подумал, что тут какая-то грязная история, раз вас вызывают из вашего угла… недурной практикой вы тут занялись… недурной пробный образец… Но теперь я приступлю к осмотру, я сам, и вы можете быть уверены, что протокол, под которым будет стоять мое имя, будет в полном порядке. Я не подпишу лжи.

Я остался спокоен.

– На этот раз вам придется все-таки это сделать. До тех пор вы не выйдете из комнаты.

При этом я сунул руку в карман – моего револьвера при мне не было. Но мой коллега все-таки вздрогнул. Я на шаг приблизился к нему и посмотрел на него.

– Послушайте, я вам скажу пару слов… чтобы избежать крайностей. Моя жизнь не имеет для меня никакой цены… чужая – тоже… я дошел уже до такого предела… единственное, что имеет для меня значение, это выполнить свое обещание и сохранить в тайне причину этой смерти… Слушайте: я даю вам честное слово, если вы подпишете свидетельство, что смерть вызвана… какой-нибудь случайностью, то я в течение недели покину город, покину Индию… я, если вы этого потребуете, возьму револьвер и застрелюсь, как только гроб будет опущен в землю и я смогу быть спокоен, что никто… вы понимаете, никто… не станет заниматься расследованиями. Этого будет для вас достаточно, это должно вас удовлетворить.

В моем голосе было, несомненно, что-то угрожающее, что-то опасное, потому что по мере того, как я невольно приближался к нему, он отступал с тем же выражением ужаса, с каким… ну, с каким люди спасаются от одержимого амоком, когда он бешено мчится вперед, размахивая крисом… И сразу он стал другим… каким-то пришибленным и безвольным… от его уверенного тона не осталось и следа. В виде слабого протеста он промямлил еще:

– Это было бы первый раз в моей жизни, что я подписал бы ложное свидетельство… но так или иначе какую-нибудь форму можно будет подыскать… бывают всякие случаи… Однако не мог же я так, без всяких…

– Конечно, не могли, – поспешно поддержал я его (только скорее!., только скорее!.. – стучало у меня в висках), – но теперь, когда вы знаете, что вы только обидели бы живого и жестоко поступили бы с умершей, вы, конечно, не станете колебаться.

Он кивнул головой. Мы подошли к столу. Через несколько минут удостоверение было готово (оно было затем опубликовано в газетах и вполне правдоподобно описывало картину сердечного паралича). После этого он встал и посмотрел на меня:

– Вы уедете на этой же неделе, не правда ли?

– Даю вам честное слово.

Он снова посмотрел на меня. Я заметил, что он хочет казаться строгим и деловитым.

– Я сейчас же закажу гроб, – сказал он, чтобы скрыть свое смущение. Но особенно мучительно для меня было, – я не знаю сам почему, – когда он вдруг протянул мне руку и с неожиданной сердечностью потряс мою.

– Желаю вам молодцом перенести это, – сказал он, и я не знал, что он имеет в виду. Был ли я болен? Или… сошел с ума? Я проводил его до двери, отпер и, делая над собой последнее усилие, запер за ним. Потом начался опять этот стук в висках, все закачалось и завертелось передо мной, и перед самой ее постелью я рухнул на пол… как… падает с оборвавшимися нервами гонимый амоком в конце своего безумного бега.

Он опять замолчал. Меня знобило – вероятно, от того, что первый порыв утреннего ветра легкой волной пробегал по кораблю. Но на измученном лице, которое я уже ясно различал в свете сумерек, снова уже появилось напряженное выражение.

– Не знаю, долго ли пролежал я так на циновке. Вдруг я почувствовал легкое прикосновение. Я вскочил. Это был бой, с робким и почтительным видом стоявший передо мной и тревожно заглядывавший мне в глаза.

– Сюда хотят войти… хотят видеть ее…

– Не впускать никого!

– Да… но…

В его глазах был испуг. Он хотел что-то сказать и не решался. Верное животное испытывало какое-то страдание.

– Кто это?

Он, дрожа, посмотрел на меня, словно ожидая удара. А потом он сказал, – он не назвал имени… откуда берется вдруг в таком низшем существе столько понимания? Почему в иные мгновения удивительное чувство такта осеняет подобных совершенно темных людей?.. Он сказал… тихо и боязливо:

– Это он.

Я вскочил, понял сразу, и меня охватило жгучее желание и нетерпение увидеть этого незнакомца. Дело в том, видите ли, что, как это ни странно… но среди всей этой муки, среди этих лихорадочных волнений, страхов и сумятицы я совершенно забыл о нем… забыл, что в деле замешан еще один мужчина… человек, которого любила эта женщина, кому она в пылу страсти отдала то, в чем отказала мне… За двенадцать, за двадцать четыре часа до этого я ненавидел этого человека, мог бы разорвать его на куски… Но теперь… я не могу, не могу передать вам, как меня тянуло увидеть его… полюбить его за то, что она его любила.

Одним прыжком я очутился у двери. Передо мной стоял молодой, совсем молоденький офицер, блондин, очень неловкий, очень стройный, очень бледный. Он выглядел совсем ребенком, так… так трогательно молод он был… и несказанно потрясло меня, как он старался быть мужчиной, показать выправку… скрыть свое волнение… Я сразу заметил, что у него дрожала рука, когда он поднес ее к фуражке… Мне хотелось обнять его… потому что он был именно таким, каким я хотел видеть человека, обладавшего этой женщиной… не соблазнитель, не гордец… нет, полуребенку, чистому, нежному созданию подарила она себя.

В крайнем смущении стоял передо мною молодой человек. Мой жадный взор и порывистые движения еще более смутили его. Маленькие усики над губой предательски вздрагивали… этот юный офицер, этот ребенок должен был сделать над собой усилие, чтобы не расплакаться.

– Простите, – сказал он наконец, – я хотел еще раз… увидеть… госпожу…

Невольно, сам не замечая этого, я положил ему, чужому человеку, руку на плечо и повел его, как ведут больного. Он посмотрел на меня изумленным и бесконечно благодарным взглядом… в этот миг между нами уже зародилось сознание какой-то общности… Я повел его к ней… Она лежала, белая, в белых простынях, я почувствовал, что мое присутствие все еще стесняло его… поэтому я отошел назад, чтобы оставить его наедине с ней. Он медленно приблизился к постели… дрожащими шагами, волоча за собой ноги… по тому, как поднимались его плечи, я видел, какая боль разрывает ему грудь… он шел… как человек, идущий против чудовищной бури… И вдруг упал на колени перед постелью… так же, как раньше упал я.

Я подскочил к нему, поднял и усадил в кресло. Он больше не стыдился и разразился рыданиями. Я не мог произнести ни слова и только бессознательно проводил рукой по его светлым, мягким, как у ребенка, волосам. Он схватил меня за руку… с каким-то страхом… и вдруг я почувствовал на себе его пристальный взгляд…

– Скажите мне правду, доктор, – пробормотал он, – она не наложила на себя руки?

– Нет, – повторил я, хотя у меня уже готов был вырваться из горла крик: «Я! Я! Я!.. И ты! Мы оба! И ее упрямство, ее злосчастное упрямство!»

Но я удержался и повторил еще раз:

– Нет… никто не виноват… Это был рок!

– Мне не верится, – простонал он, – не верится. Позавчера только она была на балу, улыбалась, кивнула мне. Это немыслимо, как это могло случиться?

Я начал плести длинную историю. Даже ему не выдал я ее тайны. Все эти дни мы, как два брата, беседовали с ним, словно озаренные связывавшим нас чувством… мы друг другу не поверяли его, но каждый из нас чувствовал, что жизнь другого тесно связана с этой женщиной… Иногда запретное слово готово было сорваться с моих уст, но я стискивал зубы, и никогда он не узнал, что она носила под сердцем ребенка от него… что я должен был убить этого ребенка, его ребенка… и что она увлекла его с собой в пропасть. И все же мы говорили только о ней в эти дни, пока я скрывался у него… потому что – я забыл это вам сказать – меня разыскивали… Ее муж приехал, когда гроб был уже закрыт… он не хотел верить официальной версии… ходили какие-то слухи… и он искал меня… Но я не мог решиться на встречу с ним… увидеть его, человека, как я знал, заставлявшего ее страдать… я спрятался… четыре дня не выходил я из дома, четыре дня мы оба не покидали квартиры… Ее возлюбленный купил для меня на чужое имя место на пароходе, чтобы я мог бежать… Словно вор, прокрался я ночью на палубу, чтобы никто меня не узнал… Я бросил там, в глуши, все, что у меня было… свой дом и работу, на которую потратил семь лет жизни. Все мое добро брошено на произвол судьбы… а начальство, вероятно, уже уволило меня со службы, так как я без разрешения оставил свой пост… Но я больше не мог жить в этом доме, в этом городе… в этом мире, где все

напоминает мне о ней… Как вор, бежал я ночью… только чтобы уйти от нее… забыть…

Однако… когда я вступил на борт… ночью… в полночь… мой друг был со мной… тогда… тогда… как раз поднимали что-то краном… что-то продолговатое, черное… Это был ее гроб… Вы слышите? Ее гроб… Она преследовала меня, как раньше я преследовал ее… и я должен был стоять тут же, с безучастным видом, потому что он, ее муж, был тоже тут… Он сопровождал тело в Англию… может быть, он хочет произвести там вскрытие… Он овладел ею… теперь она опять принадлежит ему… Уже не нам… нам обоим… Но я еще здесь… Я пойду за ней до конца… Он не узнает, он не должен никогда узнать… Я сумею защитить ее тайну от всякого посягательства… от этого негодяя, из-за которого она пошла на смерть… Ничего, ничего ему не узнать… ее тайна принадлежит мне, только мне одному…

Понимаете вы теперь… понимаете вы… почему я не могу видеть людей… не выношу их смеха… когда они флиртуют и ходят парочками… потому что там, внизу… внизу, в трюме, между тюками чая и кокосовыми орехами, стоит ее гроб… Я не могу пробраться туда, там заперто… но я чувствую это, чувствую каждую секунду… чувствую и тогда, когда здесь играют вальсы и танго… Это ведь глупо, на дне моря лежат миллионы мертвых; под любой пядью земли, на которую мы наступаем ногой, гниет труп… Но все-таки я не выношу, не могу вынести, когда устраивают здесь маскарады и так плотоядно смеются… Я чувствую здесь эту мертвую и знаю, чего она от меня хочет… я знаю, на мне еще лежит долг… я еще не кончил… Ее тайна еще не погребена… она еще не отпускает меня…

На средней палубе зашаркали шаги, зашлепали мокрые метлы – матросы начинали уборку. Он вздрогнул, как человек, застигнутый врасплох; на истерзанном лице отразился испуг. Он встал и пробормотал:

– Мне пора… пойду уж.

Мучительно было на него смотреть – страшен был пустой взгляд его опухших глаз, красных от алкоголя или от слез. Его стесняло мое участие; я ощущал во всей его сгорбленной фигуре стыд, мучительный стыд за откровенность со мной в минувшую ночь. Невольно я сказал:

– Вы позволите мне зайти после обеда к вам в каюту…

Он посмотрел на меня, жесткая усмешка исказила его губы. С какой-то злобой выдавливал он из себя каждое слово:

– Эге… наш знаменитый долг… помогать… Эге… этим самым словцом вы и подзадорили меня на болтовню. Ну нет, сударь, спасибо. Пожалуйста, не воображайте, что мне теперь легче, после того как я перед вами вывернул наружу все свои внутренности. Жизнь свою я проворонил, и никто мне ее не починит… Вышло так, что напрасно я трудился для почтенного голландского правительства… Пенсия – тю-тю, бездомным псом возвращаюсь я в Европу… псом, с визгом плетущимся за гробом… Безнаказанно не бегут в бреду амока: рано или поздно меня подкосит, и я надеюсь, что конец уже близок… Нет, спасибо, сударь, за любезное желание меня посетить… Я уже завел себе приятелей в своей каюте… две-три бутылки доброго старого виски… они меня иногда утешают… а затем мой старинный друг, к которому я, к сожалению, своевременно не обратился, мой славный «браунинг»… он-то уж поможет лучше всякой болтовни… Прошу вас, не утруждайте себя… у человека всегда остается его последняя возможность – околеть, как ему вздумается… и при этом отклонить всякую постороннюю помощь.

Он еще раз насмешливо, даже вызывающе посмотрел на меня, но я чувствовал – в нем говорил только стыд, бесконечный стыд. Потом он втянул голову в плечи, повернулся и, не прощаясь, пошел кривой и расслабленной походкой по уже светлой палубе к каютам. Больше я его не видел. Напрасно искал я его в ближайшие ночи на обычном месте. Он исчез, и я мог бы предположить, что все это был сон или галлюцинация, если бы мое внимание не было привлечено одним пассажиром с траурным флером на рукаве. Это был крупный голландский коммерсант, и мне подтвердили, что он действительно только что потерял жену, скончавшуюся от какой-то тропической болезни. Я видел, как он, с суровым, измученным лицом, прогуливался в стороне от других, и мысль, что я знаю его сокровенные думы, несказанно волновала и пугала меня; я всегда сворачивал с дороги, когда встречался с ним, боясь неосторожным взглядом выдать, что я знаю о его судьбе больше, чем он сам.

В порту Неаполя произошел после этого тот необычный несчастный случай, объяснение которого нужно, мне кажется, искать в рассказе доктора. Большинство пассажиров вечером съехало на берег, я сам отправился в оперу, а

оттуда в одно из ярко освещенных кафе на Виа Рома. Когда мы в ялике возвращались на пароход, мне бросилось в глаза, что несколько лодок с факелами и ацетиленовыми фонарями кружили и искали что-то вокруг корабля, а наверху в темноте таинственно ходили по палубе карабинеры и жандармы. Я спросил у одного из матросов, что случилось. Он уклонился от ответа, и было ясно, что ему приказано молчать. На следующий день, когда пароход мирно и без малейшего следа какого-либо происшествия пошел дальше, в Геную, на борту по-прежнему ничего нельзя было узнать; и лишь в итальянских газетах я потом прочел романтически разукрашенное сообщение о несчастном случае в Неаполе. В ту ночь, писали газеты, в поздний час, чтобы не смущать печальным зрелищем пассажиров, с борта парохода спускали в лодку гроб знатной дамы из голландских колоний. Носильщик спускался с ним по веревочной лестнице, а муж покойной помогал ему, держа за веревку. В этот миг что-то тяжелое рухнуло с высоты борта и увлекло за собой и гроб, и обоих мужчин в воду. Одна из газет утверждала, что это был какой-то сумасшедший, бросившийся сверху на веревочную лестницу. По другой версии, лестница оборвалась сама, от чрезмерной тяжести. Как бы то ни было, пароходная компания приняла, очевидно, все меры, чтобы скрыть истину. С большим трудом спасли из воды носильщика и мужа покойной, но свинцовый гроб тотчас же пошел ко дну, и его не удалось найти. Появившаяся одновременно заметка о том, что в порту прибило к берегу труп неизвестного сорокалетнего мужчины, не привлекла к себе внимания публики, так как, по-видимому, вовсе не была связана с романтически описанным происшествием; но передо мной, как только я прочел эти беглые строки, еще раз призрачно выступило из-за газетного листа бледное, как месяц, лицо со сверкающими стеклами очков.

Фантастическая ночь

Нижеследующие заметки найдены были в запечатанном конверте в письменном столе барона Фридриха Микаэля фон Р… после того, как он, осенью 1914 года, пал в сражении при Рава-Русской, служа обер-лейтенантом запаса в одном драгунском полку Семья покойного, решив по заглавию и после беглого просмотра этих листков, что они представляют собою всего лишь литературный опыт, передала мне их на рассмотрение и разрешила опубликовать. Я, со своей стороны, смотрю на это произведение отнюдь не как на вымысел, а как на правдивую во всех своих подробностях повесть о том, что действительно пережил усопший, и, утаив его имя, предаю гласности эту исповедь без всяких

изменений и добавлений.

Сегодня утром вдруг меня озарила мысль, что мне следовало бы для самого себя записать события той фантастической ночи, чтобы наконец обозреть их в связном виде и в естественной их последовательности. И начиная с этого мгновения я испытываю необъяснимую потребность изложить письменно это приключение, хотя и сомневаюсь, удастся ли мне, пусть даже приближенно, выразить необычайность происшедшего. Я совершенно лишен так называемого художественного дара, нимало не искушен в литературе и если не говорить о некоторых гимназических произведениях преимущественно шуточного характера, то никогда и не пробовал писать. Например, я не знаю даже, существует ли особая, поддающаяся усвоению техника, позволяющая сочетать чередование внешних событий и одновременное их описание и осмысление; я задаюсь также вопросом, способен ли я всегда придавать смыслу надлежащее слово, слову – надлежащий смысл и тем самым устанавливать то равновесие, которое я бессознательно всегда ощущал при чтении хороших произведений. Но я ведь пишу эти строки только для себя, и они нимало не предназначены объяснить другим нечто такое, что я с трудом понимаю сам. Они являются всего лишь попыткой наконец-то, в известном смысле, отделаться от одного происшествия, которое непрестанно занимает мои мысли, приводя их в мучительное брожение, – зафиксировать его, поставить перед собою и рассмотреть со всех сторон.

Я не рассказал об этом событии ни одному из своих приятелей, руководствуясь именно тем чувством, что не смогу им объяснить самое в нем существенное, да и как-то стыдясь того, что столь случайные обстоятельства так меня потрясли и переполошили. Ведь все в целом представляет собою, в сущности, незначительное приключение. Но, едва лишь написав это слово, я уже начинаю замечать, как трудно неопытному человеку выбирать слова надлежащего веса и какая двусмысленность, какая возможность быть истолкованным ложно присуща каждому, самому простому обозначению. Ибо, если я называю свое приключение незначительным, то понимаю это, разумеется, только в относительном смысле, в противоположность крупным драматическим событиям, в которые вовлекаются целые народы со своими судьбами, и понимаю это, с другой стороны, в смысле длительности, потому что все происшедшее развернулось на протяжении каких-нибудь шести часов. Для меня же это – вообще говоря, мелкое, маловажное и незначительное – событие имело столь большое значение, что еще и теперь – спустя четыре месяца после той

фантастической ночи – я им пылаю и должен напрягать все свои духовные силы, чтобы скрывать его в своей груди. Ежедневно, ежечасно перебираю я в памяти все его подробности, ибо оно стало как бы стержнем всего моего существования. Все, что я делаю и говорю, безотчетно для меня определяется им, мысли мои заняты исключительно тем, что воспроизводят его снова и снова и тем самым утверждают меня во владении им. И теперь мне вдруг стало ясно то, что я не сознавал еще десятью минутами раньше, когда взялся за перо: что я для того лишь излагаю теперь это происшествие письменно, чтобы иметь его перед собою совершенно точно и как бы вещественно зафиксированным, еще раз его прочувствовать и в то же время понять. Я выразился совсем неправильно, совсем ложно, только что сказав, что хочу от него отделаться; напротив, я хочу еще больше жизни вдохнуть в слишком быстро пережитое, наделить его теплом и дыханием, чтобы иметь возможность постоянно его ощущать. О, я не боюсь забыть хотя бы одну секунду того знойного дня, той фантастической ночи; мне не надобно ни камней, ни вех, чтобы шаг за шагом снова пройти в воспоминаниях путь этих часов: как лунатик, попадаю я в любое время, посреди дня, посреди ночи, в их сферу и вижу в ней каждую подробность с той зоркостью, какую знает только сердце, а не мягкая память. Я мог бы и теперь с не меньшей уверенностью нанести на бумагу очертания каждого отдельного листка в зеленеющем весеннем ландшафте, я еще теперь, осенью, чувствую нежный пыльный аромат стоящих в цвету каштановых деревьев; и поэтому, если я еще раз описываю эти часы, то не из боязни их утратить, а радуясь тому, что их снова обрел. И когда я теперь, в точной последовательности, представляю себе превращения той ночи, то вынужден, ради стройности изложения, сдерживаться, потому что стоит мне подумать о подробностях, как в душе моей поднимается какой-то дурман, своего рода экстаз овладевает мною, и мне приходится пропускать воспоминания сквозь запруду, чтобы они в многоцветном опьянении не ринулись друг на друга. Все еще переживаю я со страстным пылом пережитое, тот день, 7 июня 1913 года, когда я в полдень сел в фиакр…

Но снова, чувствую, нужно мне остановиться, потому что испуганно вновь замечаю, как обоюдоостро, как многозначно каждое отдельное слово. Только теперь, когда мне впервые предстоит нечто в связном виде изложить, я вижу, как трудно заключить в сжатую форму то ускользающее, чем все же является все живое. Только что я написал «я», сказал, что 7 июня 1913 года, в полдень, сел в фиакр. Но уже это слово ведет к неясности, потому что тем «я», каким я был 7 июня, я быть уже давно перестал, хотя только четыре месяца прошло с того времени, хотя жить я продолжаю в квартире прежнего «я» и пишу за его столом, его пером и его собственной рукою. От того прежнего человека – и как

раз под влиянием этого события – я отрешился совершенно, я гляжу на него теперь со стороны, бесстрастно и холодно, и могу его описывать, как товарища, сверстника, друга, о котором знаю много существенного, но которым сам я отнюдь уже не являюсь. Я мог бы о нем говорить, порицать его или осуждать, и при этом не чувствовать вообще, что он мне принадлежал когда-то.

Человек, каким я был в ту пору, внешне и внутренне мало отличался от большинства людей его социального класса, который принято, в частности, у нас, в Вене, называть без особой гордости, но вполне убежденно «хорошим обществом». Мне шел тридцать шестой год, родители мои рано умерли и оставили мне, незадолго до моего совершеннолетия, состояние, оказавшееся достаточно значительным, чтобы вполне избавить меня от забот о заработке и карьере. Таким образом я неожиданно освободился от одного решения, которое меня в то время очень беспокоило. Как раз в эту пору я окончил университет и стоял перед выбором дальнейшего поприща деятельности, которым явилась бы, вероятно, в силу наших семейных связей и моей рано уже обнаружившейся склонности к спокойно расширяющемуся и созерцательному существованию, государственная служба. Но тут мне досталось как единственному наследнику состояние родителей и обеспечило мне нежданную праздную независимость, даже в довольно широких пределах роскоши. Честолюбием я никогда не страдал, а поэтому решил сначала, в течение нескольких лет, понаблюдать жизнь, пока сам не почувствую потребности найти себе какое-нибудь поле деятельности. Но так я и остался наблюдателем жизни, ибо, не испытывая никаких особых стремлений, достигал всего в узком кругу своих желаний; изнеженный и сластолюбивый город Вена, доводящий поистине до художественного совершенства привычку шататься без дела, глазеть по сторонам и быть элегантным, превращающий ее в цель существования, заставил меня совсем позабыть о влечении к серьезной деятельности. Мне достались в удел все удовольствия, доступные изящному, знатному, состоятельному, приятной внешности молодому человеку, лишенному вдобавок честолюбия, – безопасные увлечения игрой, охотой, регулярные услады экскурсий и путешествий, – и вскоре я принялся, все с большей тщательностью и художественностью, украшать эту созерцательную жизнь. Я собирал редкий фарфор, не столько по душевному влечению, сколько ради удовольствия, какое доставляет приобретение навыка и знания в пределах неутомительной деятельности. Я украсил свою квартиру особого рода итальянскими гравюрами барокко и пейзажами в манере Каналетто, поиски которых у антикваров и приобретение на аукционах были полны для меня спортивного, но нисколько не опасного азарта. Занимался многими вещами с охотой и всегда со вкусом, редко пропускал концерты и выставки картин. У женщин я имел успех немалый, и в

этой области тоже вкусил, с тайной страстью коллекционера, много памятных и ценных мгновений, постепенно превратившись из простого сластолюбца в знатока и ценителя.

В общем, я много переживал такого, что приятно наполняло мой день и позволяло мне считать мою жизнь богатой, и я начинал все больше любить эту теплую, сладостную атмосферу оживленной и все же не ведавшей никаких потрясений молодости, почти уже не испытывая новых желаний, ибо совсем незначительные вещи в безбурном воздухе моих дней способны были претворяться в радость. Хорошо выбранный галстук мог меня привести чуть ли не в веселое настроение; автомобильная поездка, прекрасная книга или свидание с женщиной – дать мне ощущение блаженства. Особенно был мне приятен такой образ существования тем, что он ни в каком отношении, совершенно как безупречно сшитый английский костюм, никому не бросался в глаза. Думается мне, что на меня смотрели как на приятное явление, в обществе меня любили и охотно принимали, и большинство знакомых называло меня счастливым человеком.

Теперь уж я не мог бы сказать, чувствовал ли сам себя счастливым тот прежний человек, которого я стараюсь представить себе; ибо ныне, когда я, под влиянием пережитого, требую для каждого чувства значительно более полного смысла, мне представляется почти невозможной всякая оценка прежнего моего самочувствия. Но я могу с уверенностью сказать, что в это время, во всяком случае, не чувствовал себя несчастным, потому что почти никогда мои желания и требования к жизни не оставались неисполненными. Однако как раз то обстоятельство, что я привык получать от судьбы все, чего хотел, а вне этого никаких притязаний к ней не иметь, породило мало-помалу известный недостаток в напряжении, какую-то мертвенность в самой жизни. Что тогда, в иные минуты смутного постижения, томясь, шевелилось во мне, было, в сущности, не желаниями, а желанием желаний, потребностью вожделеть сильнее, необузданней, честолюбивее, не столь удовлетворенно, жить больше, а также, быть может, страдать. Я устранил из своего существования, посредством чересчур разумной техники, все сопротивления, и об этот недостаток сопротивления притупилась моя жизнедеятельность. Я замечал, что вожделею все меньше, все слабее, что какое-то оцепенение овладевает моими чувствами, что я – пожалуй, будет правильнее всего так выразиться – страдаю духовным бессилием, неспособностью к страстному обладанию жизнью. Сначала я стал догадываться об этом изъяне по мелким признакам. Я обратил внимание на то, что все реже начал бывать в театрах, в обществе, на различных сенсационных собраниях, что, покупая книги, о которых я слышал лестные отзывы, оставлял их

в течение целых недель неразрезанными на своем столе, что, механически продолжая коллекционировать свои любовные похождения, фарфор и древности, я уже не приводил их в порядок и не слишком радовался неожиданному приобретению, после долгих поисков, какой-нибудь редкой вещи.

Осознал же я вполне это медленное и постепенное ослабление своей духовной энергии только по одному определенному поводу, отчетливо сохранившемуся в моей памяти. Я остался на лето в Вене – также под влиянием этой странной вялости, не поддававшейся никаким приманкам новизны, – и вдруг получил с одного курорта письмо от женщины, с которой я в течение трех последних лет был в связи и в любви к которой был даже искренне уверен. Она взволнованно писала мне на четырнадцати страницах, что за эти недели познакомилась там с одним человеком, который занял в ее жизни большое, господствующее место, что она выйдет осенью замуж за него и что наши отношения должны быть прерваны. Она без раскаяния, больше того – с радостью вспоминает прожитое со мной время, вступает в новый брак, сохраняя память обо мне, как о самом дорогом в ее прежней жизни существе, и надеется, что я прощу ей это неожиданное решение. Вслед за этим деловым сообщением взволнованное письмо заканчивалось поистине потрясающими заклинаниями, чтобы я не слишком страдал от этого внезапного разрыва; чтобы я не пытался ее насильно удержать или совершить какой-нибудь безумный шаг. Все стремительнее мчались строки: она умоляла меня найти утешение у более достойной женщины и сейчас же ей написать, потому что она с трепетом думает о том, как я приму это сообщение. И в виде постскриптума, карандашом, было еще порывисто написано: «Не делай ничего безрассудного, пойми меня, прости меня».

Читая это письмо, я сначала опешил от неожиданности, а потом, когда я его перелистал и начал вторично читать, то почувствовал какой-то стыд, и, будучи осознан мною, этот стыд быстро повысился до степени ужаса. Ибо ни одно из этих сильных и все же естественных ощущений, которые предвидела моя любовница, даже в слабой мере не шевельнулось во мне. Ее сообщение не причинило мне боль, не вызвало гнева во мне, и уж, во всяком случае, ни на мгновение не приходило мне на ум какое-либо насилие над нею или над собою. И этот мой душевный холод был все же настолько странен, что не мог не испугать меня самого. Ведь от меня уходила женщина, в течение ряда лет бывшая спутницей моей жизни, женщина, чье теплое гибкое тело прижималось к моему, чье дыхание в долгие ночи сливалось с моим, и ничто во мне не шевельнулось, не возмутилось, ничто не пыталось отвоевать ее снова, ничто не произошло в моей душе из того, что чистый инстинкт этой женщины должен был ожидать от настоящего человека. В этот миг я впервые понял, как далеко зашел

процесс окостенения. Я скользил мимо, словно по проточной зеркальной воде, нигде не задерживаясь, не пуская корней, и знал совершенно точно, что этот холод был чем-то мертвенным, трупным, еще не отдававшим, правда, гнилостным запахом тления, но говорившим о безнадежной окоченелости, о жуткой, ледяной бесчувственности, которая предшествует подлинному телесному умиранию, явному распаду.

С этого времени я принялся внимательно наблюдать себя и эту странную духовную отупел ость во мне, как больной следит за своей болезнью. Когда вскоре после этого умер один мой друг и я шел за его гробом, то прислушивался к самому себе: шевелится ли во мне скорбь, вызывает ли в моем сознании какую-нибудь боль утрата этого близкого мне с детских лет человека? Но ничто не шевельнулось во мне, я сам себе представлялся каким-то стеклянным предметом, сквозь который вещи просвечивают, никогда не проникая внутрь, и как я ни силился при этом, да и при многих подобных обстоятельствах, что-нибудь почувствовать или хоть доводами рассудка пробудить в себе чувство, никакого ответа не доносилось из застывших глубин души. Люди покидали меня, женщины приходили и уходили – ощущал я это почти так же, как человек, сидящий в комнате, ощущает дождь, который барабанит по стеклам. Между мной и окружающим миром была какая-то стеклянная стена, и разрушить ее напором воли у меня не было сил.

Как ни ясно я это сознавал, подлинной тревоги не вызвало во мне такое открытие, потому что, как я уже говорил, я равнодушно относился к вещам, касавшимся меня самого. Даже для страдания я был уже недостаточно чувствителен. Я довольствовался тем, что этот духовный изъян был так же незаметен для посторонних, как телесное бессилие мужчины обнаруживается только в интимные мгновения, и часто в обществе, посредством напускной сдержанности, посредством спонтанного преувеличения, я старался с известным тщеславием скрыть, до какой степени я внутренне безучастен и мертв. Внешне я продолжал вести свой прежний угарный, не знающий трений образ жизни, не изменяя его течения: недели, месяцы легко скользили мимо и медленно превращались в годы. Однажды утром я увидел в зеркале седую прядь у себя на виске и почувствовал, что моя молодость медленно струится в другой мир. Но то, что другие называли молодостью, во мне давно миновало. Поэтому прощаться с нею было не очень больно; я ведь и собственную свою молодость недостаточно любил. Даже по отношению ко мне самому строптивое мое сердце молчало.

В силу этой внутренней неподвижности дни мои становились все более однообразными, несмотря на пестроту занятий и обстоятельств. Они выстраивались в тусклый ряд, росли и увядали, как листья на дереве. И совершенно обычно, ничем не выделяясь, без всякого предзнаменования начался и тот единственный день, который я хочу для самого себя описать.

В этот день, 7 июня 1913 года, я поздно встал под влиянием не поблекшего с детских, школьных лет праздничного, воскресного настроения; принял ванну, читал газету и перелистывал книги, затем пошел гулять, будучи прельщен теплым, летним днем, участливо проникавшим в мою комнату; по привычке прошелся по Грабену, разглядывая экипажи, обмениваясь поклонами с приятелями и знакомыми, кое с кем из них переговариваясь мимоходом. Потом позавтракал вместе с друзьями. Дневные часы были у меня свободны, потому что по воскресеньям я особенно любил в течение нескольких часов нераздельно принадлежать самому себе, всецело отдаваясь на волю случая или какого-нибудь внезапного решения. Когда я затем, возвращаясь от друзей, переходил Ринг, то почувствовал благородную красоту залитого солнцем города и обрадовался его яркому, летнему убранству. Все люди казались веселыми и какими-то влюбленными в праздничный вид пестрой улицы, многие частности бросались мне в глаза – и прежде всего то, как пышно разоделись в свою новую зелень росшие среди асфальта деревья. Хотя я здесь проходил почти ежедневно, эту воскресную сутолоку я вдруг воспринял как чудо и невольно испытал тоску по зелени, яркости и пестроте. Я вспомнил с некоторым любопытством о Пратере, где теперь, в конце весны, в начале лета, тяжелые деревья стоят, как исполинские лакеи, по обеим сторонам струящейся экипажами главной аллеи и неподвижно протягивают свои белые цветы множеству принарядившихся, элегантных людей. Привыкнув сразу же уступать каждому своему мимолетному желанию, я остановил первый встретившийся мне фиакр и приказал кучеру ехать в Пратер.

– На скачки, господин барон, не правда ли? – спросил он подобострастно.

Тут только я вспомнил, что на этот день назначены престижные скачки, предшествовавшие розыгрышу дерби, и что все фешенебельное венское общество собирается там.

«Странно, – подумал я, садясь в фиакр, – могло ли еще несколько лет тому назад случиться, чтобы я пропустил или забыл такой день?» Снова по этой забывчивости почувствовал я, как больной, когда заденешь его рану, душевную

черствость, овладевшую мною.

Главная аллея была уже довольно пустынна, когда мы выехали на нее. Скачки, должно быть, уже давно начались, потому что не видно было столь пышной обычно вереницы экипажей, только несколько фиакров порознь мчались под грохот копыт, словно в погоню за незримой целью. Кучер повернулся на козлах и спросил, гнать ли ему коней. Но я сказал ему, чтобы он не торопился, потому что мне было безразлично, опоздаю ли я. Слишком часто бывал я на скачках и наблюдал публику на трибунах, чтобы стремиться приехать вовремя, и моему ленивому настроению больше соответствовало мягко покачиваться в коляске, ощущать нежно шелестящий синий воздух, как море на палубе корабля, и спокойно присматриваться к густолиственным каштановым деревьям, отдававшим по временам вкрадчиво теплому ветру лепестки своих цветов, которые он, играя, легко поднимал и крутил, прежде чем уронить их снежинками на аллею. Приятно было давать себя укачивать так, вдыхать весну с закрытыми глазами, чувствовать себя, без всякого напряжения, окрыленным и уносимым: в сущности, мне стало досадно, когда коляска остановилась во Фройденау перед воротами. Охотнее всего я бы еще повернул, продолжал бы упиваться мягким днем раннего лета. Но уже было поздно, коляска стояла перед ипподромом.

Глухой гул донесся мне навстречу. Словно море бушевало за ступенчатыми трибунами, где скрывалась от моих глаз взволнованная толпа, порождавшая этот сосредоточенный шум, и невольно припомнилось мне, как в Остенде, чуть только поднимешься на пляж из нижнего города, по боковым улочкам, тебя уже обдает солеными и резкими порывами ветер и слышится глухой грохот, прежде чем взор охватит пенистый, серый простор с его гремящими валами.

В этот миг, по-видимому, проходил один из заездов, но между мною и кругом, по которому неслись теперь лошади, теснилась многокрасочная, гудящая, словно внутренней бурей потрясаемая толпа игроков и зрителей; мне не были видны скачки, но я угадывал каждую фазу их по азарту зрителей. Лошади, очевидно, давно уже были пущены, кучка разредилась, и двое боролись за лидерство, потому что из толпы, таинственным образом переживавшей невидимые для меня движения, уже вырывались крики и взволнованные призывы. По направлению голов чувствовал я поворот, которого теперь достигли жокеи и лошади на продолговатом овале дорожки, потому что весь людской хаос тянулся все в большем единстве, все сплоченнее, как одна вытянутая шея, по направлению к незримому для меня фокусу взглядов, и все выше поднимавшийся прибой

клокотал и ревел в этой единственной вытянутой шее тысячью дробных, отдельных звуков. И этот прибой рос и вздувался, уже заполняя все пространство, вплоть до равнодушного синего неба. Я взглянул на несколько лиц. Они были искажены как бы внутренней судорогой, глаза были выпучены и сверкали, губы закушены, подбородок жадно вытянут вперед, ноздри раздуты, как у лошадей. Забавно и жутко было мне рассматривать в трезвом состоянии этих не владеющих собою опьяненных людей. Рядом со мной стоял на стуле мужчина, щегольски одетый, с лицом, вообще говоря, довольно приятным; теперь, одержимый незримым дьяволом, он неистовствовал, размахивал в воздухе палкой, словно кого-то подхлестывал, все его тело страстно воспроизводило – для стороннего наблюдателя в этом был невыразимый комизм – движения быстрой скачки. Как на стальных стременах, непрестанно постукивал он каблуками по стулу, не переставая рассекать воздух палкой вместо хлыста, левой рукой судорожно сжимая белую афишку. И вокруг все больше развевалось этих белых афишек. Как пенные брызги, реяли они над этим яростным, серым, шумно бурлившим водоворотом. Теперь, по-видимому, две лошади шли на повороте, голова в голову, потому что сразу рев раздробился на два, три, четыре отдельных имени, которые не переставали вырываться, как боевой клич, из одиночных исступленных групп, и крики эти казались клапанами их бредовой одержимости.

Я стоял среди этого оголтелого грохота, холодный, как скала среди бушующего моря, и не могу даже теперь сказать, что испытывал в ту минуту. Прежде всего я чувствовал комизм всех этих гримас и ужимок, ироническое презрение к плебейскому характеру этих излияний, но все же и нечто иное еще, в чем я неохотно сам себе признавался, – какую-то тихую зависть к такому возбуждению, к такой пылкой страстности, к жизненной силе, таившейся в этом фанатизме. «Что должно было бы произойти, – думал я, – чтобы до такой степени взволновать меня, привести в такое лихорадочное состояние: чтобы по телу моему разлился жар, а изо рта невольно вырывались крики?» Я не представлял себе такой денежной суммы, получение которой могло бы меня так зажечь, такой женщины, которая бы меня так возбудила, ничего, ничего не существовало, способного довести мои онемелые чувства до такого пожара! Перед внезапно на меня направленным пистолетом сердце мое, за миг до смерти, не билось бы так дико, как вокруг меня стучали, из-за горсточки золота, сердца десятков тысяч человек.

Но вот, по-видимому, одна лошадь уже подходила к финишу, потому что в слитном, становившемся все более пронзительным крике тысяч голосов зазвенело, как натянутая струна, одно определенное имя и резко вдруг

оборвалось. Музыка заиграла, толпа внезапно растеклась. Один заезд закончился, один бой разрешился, напряжение разрядилось в пенящуюся, движимую затухающими колебаниями сутолоку. Толпа, только что представлявшая собою пучок страсти, распалась на множество отдельных бегущих, смеющихся, говорящих людей: спокойные лица снова выплыли из-за уродливой маски возбуждения; в азартном хаосе, на несколько мгновений спаявшем эти тысячи в единую раскаленную глыбу, начали опять выслаиваться человеческие группы, сходившиеся, расходившиеся, – люди, которых я знал и которые со мною здоровались, люди чужие, которые окидывали друг друга холодно-учтивыми взглядами. Женщины критически осматривали одна другую в новых своих туалетах, мужчины жадно поглядывали на них; то светское любопытство, которое, в сущности, является занятием для безучастных людей, опять начинало обнаруживаться. Они выискивали, пересчитывали, проверяли друг друга: все ли в сборе, все ли элегантны. Едва очнувшись от хмеля, все эти люди не знали уже, антракты ли составляют цель этого светского сборища или самые скачки.

Я расхаживал в этой разгоряченной толпе, кланялся и отвечал на поклоны, с наслаждением вдыхал – ведь это была атмосфера моего существования – запах духов и элегантности, которым веяло от этого калейдоскопического муравейника, и с еще большим упоением – тихий ветерок, долетавший со стороны лугов Пратера и согретых летним солнцем лесов, ласково игравший кисеей женских туалетов. Несколько знакомых пытались заговорить со мною, Диана, красивая актриса, приветливо кивнула мне из ложи, но я ни к кому не подходил. Мне было неинтересно беседовать сегодня с кем-нибудь из этих светских людей, мне было скучно видеть в их зеркале самого себя; только общую картину хотел я воспринимать, шелестяще чувственное возбуждение, разлитое по этой толпе (ибо чужое возбуждение для безучастных составляет самое приятное зрелище). Несколько красивых женщин прошли мимо меня, я взглянул нагло, но хладнокровно на их груди, трепетавшие под легкой материей от каждого их шага, и про себя смеялся над полутягостным, полусладостным смущением, какое должны были испытывать они под чувственными, оценивающими взглядами, будучи так бесстыдно обнажены. В сущности, меня не прельщала ни одна, мне только доставляло некоторое удовольствие напускать на себя такой вид, игра с мыслью, с их мыслями, радовала меня, приятно было телесно соприкасаться с ними телами, чувствовать магнетическое подрагивание в глазах; ибо для меня, как для всякого душевно холодного человека, подлинным эротическим наслаждением было вызывать в другом смятение и зной вместо того, чтобы самому разгораться. Только теплое дуновение любил я ощущать, которым обдает нашу чувственность присутствие

женщины, а не подлинный жар, одно лишь побуждение, а не возбуждение. Так я прогуливался и теперь, ловя взгляды, отражал их легко, как мячики, вкушал, не хватая, осязал, не чувствуя, будучи только легко согрет теплым сладострастием игры.

Но и это мне скоро наскучило. Все те же люди проходили мимо, я знал уже наизусть их лица и жесты. Поблизости оказался свободный стул. Я уселся. Вокруг меня опять возникло в группах вихревое движение, люди беспокойнее забегали и стали толкаться; очевидно, начинался новый заезд. Я не интересовался им, сидел небрежно и как-то дремотно в клубах своей папиросы, уносившихся белыми завитками ввысь, светлевших и таявших, как облака в весенней синеве.

В этот миг началось то единственное, то неслыханное событие, которым и теперь определяется моя жизнь. Я могу совершенно точно установить это мгновение, потому что случайно взглянул на часы. Было три минуты четвертого в этот день, 7 июня 1913 года. Итак, я взглянул, с папиросой в руке, на белый циферблат, совершенно уйдя в это ребячливое и смешное созерцание, когда услышал, как вплотную за моей спиной громко рассмеялась женщина тем резким, возбужденным смехом, который мне нравится у женщин, тем смехом, который вылетает с теплой, встрепенувшейся непосредственностью из разогретого кустарника чувственности. Невольно повернул я голову, собираясь уже взглянуть на женщину, чья громкая чувственность дерзко ударила по моей беспечной созерцательности, как искрящийся белый камень по глухому, тинистому пруду, но удержался. Остановило меня нередко уже овладевавшее мною странное желание позабавиться, произвести небольшой и безопасный психологический эксперимент. Я еще не хотел видеть смеявшуюся, мне захотелось сперва дать волю воображению, своей фантазии; представить ее себе в своего рода предвкушении, восполнить в воображении этот смех каким-то лицом, ртом, шеей, затылком, грудью, целостным образом живой, дышащей женщины.

Она, очевидно, стояла теперь прямо за моей спиной. Смех опять перешел в беседу. Я напряженно прислушивался. Она говорила с легким венгерским акцентом, очень быстро и живо, широко растягивая гласные, точно пела. Меня забавляло теперь желание присочинить к этой речи определенный облик и по возможности обстоятельно разработать эту фантазию. Я придал ей темные волосы, темные глаза, широкий, чувственно изогнутый рот с совершенно белыми, крепкими зубами, очень узкий маленький нос, но с трепещущими, круто

выгнутыми ноздрями. К левой щеке я приклеил мушку, в руку вложил стек, которым она, смеясь, легко похлопывала себя по бедру. Она продолжала говорить. И каждое слово прибавляло новую деталь к молниеносно возникшему в моей фантазии образу: узкая девичья фигура, темно-зеленое платье с косо пристегнутой бриллиантовой брошью, светлая шляпа с белым пером. Все яснее становилась картина, и я уже ощущал эту чужую женщину, незримо стоявшую за моей спиной, в зрачке своем, как на освещенной пластинке. Но я не хотел поворачиваться, стремясь усилить эту игру воображения. Какой-то тихий трепет сладострастия примешался к дерзким грезам, я закрыл глаза, будучи уверен, что, когда я подниму веки и оглянусь на нее, внутренний образ в точности совпадет с внешним.

В этот миг она появилась передо мной. Я невольно открыл глаза – и рассердился. Я нелепо промахнулся: все было иначе, мало того – все каким-то злостным образом контрастировало с моим вымыслом. Она была не в зеленом, а в белом платье, была не стройная, а полная, с пышными бедрами, нигде на пухлой щеке не видно было мушки, волосы выбивались рыжевато-белокурыми, а не черными прядями из-под шлемообразной шляпы. Ни один из моих признаков не соответствовал ее облику; но эта женщина была красива, вызывающе красива, хотя я старался, уязвленный в своем глупом тщеславии психолога, не признавать этой красоты. Почти враждебно взглянул я на нее, но даже то, что во мне сопротивлялось, ощущало сильное чувственное обаяние, исходившее от этой женщины, манящую, животную прелесть ее плотных и в то же время мягких форм. Теперь она снова громко рассмеялась, показав белые, крепкие зубы, и я должен был признаться, что этот горячий, чувственный смех вполне гармонировал с ее пышной фигурой; все в ней было так ярко и вызывающе, выпуклая грудь, выступающий вперед при смехе подбородок, острый взгляд, вздернутый нос, рука, сильно вонзившая зонтик в землю. Здесь было женское начало, стихийная сила, сознательное, захватывающее прельщение, плотью ставший маяк сладострастия.

Рядом с нею стоял изящный, немного поблекший офицер и что-то ей увлеченно говорил. Она его слушала, улыбалась, смеялась, возражала, но все это только вскользь, потому что в то же время взгляд ее скользил повсюду, ноздри трепетали как бы всем навстречу Она впитывала внимание, улыбки, взгляды со стороны каждого проходившего и со стороны всей мужской толпы. Взор ее все время блуждал то вдоль трибун, чтобы вдруг, радостно узнав кого-нибудь, ответить на поклон, то влево, то вправо, между тем как она не переставала с тщеславной улыбкой слушать офицера. Только меня, заслоненного ее спутником и находившегося ниже поля ее зрения, не касался еще ее взгляд. Это было мне

досадно. Я встал – она меня не видела. Я продвинулся ближе – она опять стала рассматривать трибуны. Тогда я решительно к ней подошел, поклонился ее спутнику и предложил ей стул. Она удивленно взглянула на меня, улыбающийся блеск мелькнул в ее глазах, губы вкрадчиво изогнулись в усмешке. Затем она меня коротко поблагодарила и взяла стул, но не села на него. Только своими полными, до локтей обнаженными руками оперлась она мягко на спинку и воспользовалась легким изгибом тела, чтобы явственнее показать его формы.

Досада, вызванная во мне неудачным психологическим опытом, давно улеглась, меня прельщала только игра с этой женщиной. Я немного отступил к стене трибуны, откуда мог ее свободно и все же незаметно для других разглядывать, оперся на свою трость и стал искать ее взгляда. Она это заметила, немного повернулась в сторону моего наблюдательного поста, но все же так, что это движение показалось совершенно случайным, не избегала моего взгляда, отвечала на него при случае, но надежд не подавала. Глаза ее по-прежнему блуждали, всего касались, ни на чем не останавливались. Только ли при встрече с моими излучали они неопределенную улыбку, или она дарила ее каждому – этого нельзя было понять, и эта именно неопределенность раздражала меня. В промежутках, когда взор ее падал на меня, как белый луч, он казался полным обещания, но теми же сталью сверкающими зрачками она без всякого разбора парировала всякий брошенный в ее сторону взгляд, только ради кокетливого увлечения игрой, а главное, ни на мгновение не отрываясь от беседы со своим спутником, которая ее, по-видимому, интересовала. Нечто ослепительно дерзкое было в этих страстных выпадах: виртуозность кокетства или прорвавшийся избыток чувственности. Невольно я приблизился на шаг: ее холодная дерзость передалась мне. Я уже не в глаза ее глядел, а деловито рассматривал ее с головы до ног, взглядом срывал с нее одежду и чувствовал ее нагою. Она следила за моим взглядом, нисколько не оскорбляясь, улыбаясь углами рта болтливому офицеру, но я замечал, что этой улыбкой она подтверждает понимание моего намерения. И когда я затем взглянул на ее маленькую ногу, нежно выступавшую из-под белого платья, она спокойно скользнула вдоль платья контролирующим взглядом. Затем, в следующее мгновение, она как бы случайно подняла ногу и поставила ее на нижнюю перекладину стула, так что я сквозь ажурную юбку видел чулки до колен, но в то же время ее улыбка, обращенная к спутнику, словно сделалась какою-то ироничной или коварной. Очевидно, она играла со мною так же безучастно, как я с нею, и мне приходилось с ненавистью дивиться утонченной технике ее наглости; ибо, украдкой предоставляя мне постигать чувственность своего тела, она в то же время полыценно прислушивалась к нашептыванию своего спутника, давала и брала одновременно, и то и другое – только шутя. В сущности, я был ожесточен,

я ненавидел в других этот род холодной и злостно-расчетливой чувственности, именно потому, что ощущал ее столь кровосмесительно близкое родство с моею собственной искушенной бесстрастностью. Но все же я был взволнован, быть может, в большей мере ненавистью, чем вожделением. Нагло подошел я ближе и грубо ощупал ее взглядом. «Я хочу тебя, красивое животное», – говорил мой недвусмысленный жест, и, по-видимому, губы мои невольно шевельнулись, потому что она с тихим презрением усмехнулась, отвернувшись в сторону от меня, и опустила платье над обнаженной ногой. Но в следующий миг черные зрачки начали опять, искрясь, блуждать по сторонам. Было совершенно очевидно, что она была так же бесстрастна, как и я, и достойна меня, что мы оба холодно играли чужим пылом, который сам был всего лишь нарисованным огнем, красивым, однако, с виду и с которым весело было играть в середине знойного дня.

Вдруг напряженность угасла в ее лице, искрящийся блеск потух, маленькая досадливая складка обозначилась вокруг только что улыбавшегося рта. Я взглянул в ту же сторону: маленький толстый господин, в мешковатом костюме, торопливо к ней приближался, нервно вытирая платком влажные от возбуждения лоб и лицо. Из-под второпях набекрень надетой шляпы видна была сбоку большая плешь (невольно я почувствовал, что на ней, под шляпой, застыли, должно быть, капли пота, и почувствовал отвращение к этому человеку). В унизанных перстнями пальцах он держал целую пачку талонов, сопел от волнения и тотчас же, не глядя на свою жену, громко заговорил по-венгерски с офицером. Я сразу в нем угадал фанатика конного спорта, какого-нибудь крупного лошадиного барышника, для которого тотализатор был единственным наслаждением, пленительным суррогатом возвышенного. Его жена в этот миг сказала ему, по-видимому, нечто укоризненное (она явно стеснялась его присутствия и утратила свою дерзкую уверенность), ибо он привел в порядок (очевидно, по ее указанию) свою шляпу, потом фамильярно улыбнулся ей и с ласковым добродушием похлопал ее по плечу Она гневно вздернула брови, негодуя на такую супружескую интимность, тяготившую ее в присутствии офицера, а еще больше, пожалуй, в моем. Он как будто попросил извинения, сказал опять по-венгерски несколько слов офицеру, на которые тот ответил, любезно осклабясь, но затем ласково и несколько подобострастно взял жену под руку Я чувствовал, что она стыдится в нашем присутствии близости к нему, и наслаждался ее унижением со смешанным чувством насмешки и отвращения. Но она уже опять немного овладела собою, и, между тем как она мягко оперлась на его руку, взгляд ее иронически скользнул в мою сторону, как бы говоря: «Вот видишь, вот кому я принадлежу, а не тебе». Я испытывал ярость и в то же время тошноту. Собственно говоря, мне хотелось повернуться к ней

спиной и пойти дальше, чтобы показать ей, что супруга столь вульгарного толстяка не может меня больше интересовать. Но чары были слишком сильны. Я остался.

В этот миг раздался пронзительный сигнал старта. Сразу же эта болтливая, тусклая, косная толпа всколыхнулась и опять со всех сторон, толкаясь и бурля, хлынула вперед к барьеру. Мне понадобилось известное усилие, чтобы не дать себя увлечь в водоворот, потому что я хотел как раз в этой сутолоке остаться поблизости от нее в надежде, что тут представится случай для решающего взгляда, жеста, какой-нибудь внезапной наглой выходки, какой именно – я еще не знал, и поэтому я упорно проталкивался к ней сквозь торопливую толпу. В это как раз мгновение толстый супруг протиснулся вперед в намерении занять удобное место подле трибуны, и мы оба таким образом, каждый под влиянием своего порыва, так сильно столкнулись друг с другом, что его шляпа полетела на землю и засунутые за ее ленту талоны рассыпались широким полукругом, усеяв песок, как красные, синие, желтые и белые мотыльки. На мгновение он вперил в меня взгляд. Машинально я хотел извиниться, но какая-то злая воля сжала мне губы; мало того: я глядел на него холодно, с дерзким и оскорбительным вызовом. Взгляд его на секунду вспыхнул от сильного прилива робко подавленной ярости, но малодушно погас перед моим. С незабываемой, почти трогательной робостью глядел он на протяжении другой секунды в мои глаза, потом отвернулся, вспомнил вдруг про свои талоны и нагнулся, чтобы поднять их с земли заодно со шляпой.

С нескрываемым гневом, зардевшись от волнения, жена блеснула на меня глазами, оставив его руку; я чувствовал с каким-то сладострастием, что она охотнее всего ударила бы меня. Но я продолжал стоять совершенно хладнокровно и небрежно и наблюдал с улыбкой, не помогая, как, задыхаясь, нагибался тучный муж и ползал у моих ног, подбирая свои талоны. Воротник у него был высоко задран, как перья у нахохлившейся курицы, широкая складка жира образовалась на красном затылке, он астматически сопел. Невольно при виде этого сопящего человека возникла у меня непристойная и тошнотворная мысль, я представил его себе в супружеском общении с женой и, почерпнув смелость в этом представлении, рассмеялся ей прямо в лицо, потешаясь над ее уже еле сдерживаемым гневом. Она стояла, теперь снова бледная, в нетерпении, с трудом владея собою, – наконец-то я все же вырвал у нее искреннее, подлинное чувство: ненависть, необузданный гнев! Охотнее всего я продлил бы эту злую сцену до бесконечности. С холодным сладострастием следил я за тем, как он мучается, подбирая талоны один за другим. Какой-то проказливый черт сидел у меня в глотке, все время хихикавший и подбивавший

меня на смех, – приятнее всего мне было бы высмеять или пощекотать немного палкой эту мягкую ползавшую мясную тушу: я даже не помню, владела ли мною когда бы то ни было более сильная злоба, чем при этом искрометном торжестве над унижением нагло игравшей женщины.

Но вот несчастный собрал наконец все свои талоны, кроме одного, синего, который упал подальше и лежал на песке, как раз передо мной. Он одышливо поворачивался во все стороны, искал его своими близорукими глазами, – пенсне сдвинулось у него на самый кончик влажного от испарины носа, – и этой секундой воспользовалась моя каверзная злоба, чтобы продлить его забавное рвение: безвольно повинуясь шаловливости, достойной школьника, я быстро выставил ногу и наступил на талон, так что найти его он не мог бы, несмотря ни на какие усилия, пока на это не согласился бы я. И он искал, искал неутомимо, посапывая, все заново пересчитывая разноцветные карточки; ясно было, что одной – моей – он недосчитывался, и когда посреди возраставшего гула он снова хотел приняться за поиски, его жена, которая, судорожно закусив губы, избегала моих насмешливых взглядов, не смогла больше сдержать свое гневное нетерпение.

– Лайос! – властно крикнула она ему вдруг, и он встрепенулся, как лошадь при звуке трубы, еще раз ищущим взором окинул песок – у меня было такое чувство, точно спрятанный талон щекочет мне ступню, и я с трудом удержался от смеха, – потом послушно вернулся к жене, и та с какой-то строптивой поспешностью увлекла его прочь, в сутолоку, пенившуюся все сильнее.

Я продолжал стоять на месте, не испытывая никакого желания последовать за ними. Эпизод был для меня завершен; чувство эротического напряжения приятно разрядилось в веселое настроение; возбуждение совершенно покинуло меня, не оставив никаких следов, кроме здорового ощущения сытости, – утолена была моя внезапно прорвавшаяся злоба, – следа наглого, почти шаловливого удовлетворения тем, что проделка удалась.

Впереди тесно сгрудились люди, волнение уже начинало клокотать и напирать в виде мощной, грязной, черной волны на барьер, но я совсем не смотрел в ту сторону: я уже начинал скучать и подумывал о том, чтобы прогуляться по Криау или поехать обратно. Но едва лишь я непроизвольно ступил ногой вперед, как заметил синий талон, забытый на земле. Я поднял его и держал, теребя, в руке, не зная, как с ним поступить. Смутно возникла у меня мысль возвратить его Лайосу, что могло бы послужить превосходным поводом к знакомству с его

женой; но я чувствовал, что она меня больше не интересует, что недолгий зной, которым пахнуло на меня это приключение, давно остужен моим старым равнодушием. Большего, чем этот борющийся, вызывающий обмен взглядами, я не требовал от супруги Лайоса, – толстяк был мне все же слишком противен, чтобы я мог делить ее тело с ним, – нервный трепет я вкусил и теперь ощущал уже только спокойное любопытство, приятную разрядку.

Стул находился все там же, покинутый и одинокий. Я удобно развалился на нем, закурил папиросу. Передо мною опять начиналось бушевание страстей, я даже не прислушивался: повторения меня не прельщали. Я спокойно смотрел на стлавшийся табачный дымок и думал о Меранском Гильфе, где я двумя месяцами раньше смотрел на брызжущий водопад. Это было совсем как здесь: тот же бурно возраставший гул, от которого не становилось ни тепло, ни холодно, то же бессмысленное звучание среди молчаливого синего пейзажа. Но в этот миг азарт достиг апогея, снова замелькала над черным людским прибоем пена зонтиков, шляп, криков, платков, снова слились голоса воедино, снова из гигантской пасти толпы вырвался – иначе только окрашенный – возглас. Я слышал одно имя, тысячекратно, с ликованием, звоном, экстазом, отчаянием провозглашаемое: «Кресси! Кресси! Кресси!» И снова, как натянутая струна, оно оборвалось (какую монотонность сообщает повторение даже страстям!). Заиграла музыка, толпа расползлась. Взметнулись доски с номерами победителей. Я безотчетно взглянул на них. На первом месте стояла семерка. Машинально посмотрел я на синий талон, оставшийся у меня в руке. На нем тоже стояла семерка.

Я невольно рассмеялся. Талон выиграл, этот славный Лайос поставил верно. Итак, я по злобе своей еще и обобрал толстого супруга! Сразу вернулось ко мне мое проказливое настроение, теперь меня интересовало, во сколько ему обошлось мое ревнивое вмешательство. В первый раз присмотрелся я к синей карточке: это был талон на двадцать крон, и Лайос поставил их в ординаре. Это могло составить приличную сумму. Без долгих размышлений, повинуясь только щекотанию любопытства, я дал торопливой толпе увлечь себя по направлению к кассе. Я вдвинут был в какую-то очередь, предъявил талон, и костлявые проворные руки человека, чье лицо мне даже не было видно за перегородкой, сунули мне на мраморную доску девять билетов по двадцать крон.

В этот миг, когда мне уплачены были деньги, настоящие деньги, синие кредитки, смех у меня замер в гортани. Сразу зашевелилось неприятное чувство. Невольно я отвел руки назад, чтобы не прикоснуться к чужим деньгам. Охотнее

всего я оставил бы синие кредитки на доске, но за мною уже теснились люди, нетерпеливо ждавшие выигранных ими денег. Мне поэтому ничего иного не оставалось, как взять деньги – с омерзением в пальцах; словно синие языки огня, горели банкноты в руке, и я ее невольно отводил в сторону, как будто и рука, их взявшая, не мне принадлежала. Тотчас же я понял фатальность положения. Против моей воли шутка превратилась в нечто такое, что не должно было произойти с человеком приличным, с джентльменом, с офицером запаса, и я не решался перед самим собою назвать этот поступок надлежащим именем. Ибо это были не открытые, а коварством добытые, украденные деньги.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Упавший духом (англ.).

2

«Воспитание чувств» (фр.).

3

Здесь: лишилась чувств (фр.).

4

Вполне здорова (англ.).

5

Вы останетесь здесь (англ.).

6

Идите быстрее (англ.).

7

Да, сэр (англ.).

Купить: https://tellnovel.com/stefan-cveyg/dvadcat-chetyre-chasa-iz-zhizni-zhenschiny-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити